

## О быте послевоенной Москвы, прощании с Ахматовой и загадке французской Библии

<https://oralhistory.ru/talks/orh-2152>

🎙 24 октября 2017

### Собеседник

Вельчинская Ольга Алексеевна

### Ведущий

Голицына Екатерина Андреевна

### Дата записи

Беседа записана 24 октября 2017 и опубликована 5 апреля 2019.

### Введение

Во второй беседе художница Ольга Вельчинская продолжает рассказ о своем детстве, подробно описывая детали московского быта 1950-х годов: о нянечках послевоенной Москвы, о выездном детском саде со строгими правилами, о школе с ее законом коллективной ответственности, о пионерском лагере и повсеместном поиске шпионов. Ольга Алексеевна говорит о том, что связывает ее семью с Анной Ахматовой, и, в том числе, рассказывает почти детективную историю принадлежащей ее семье французской Библии.

## Роза-беломоза, Иностраннный скверик и дворницкая дома Вахтангова

**Ольга Алексеевна Вельчинская:** Так вот, про няню. Дело в том, что в послевоенные годы институт домработниц и нянь в Москве был чрезвычайно развит, что не удивительно, потому что бежали люди из голодных и до того малоблагополучных деревень, но после войны обнищавших и опустевших окончательно, и в Москву ринулись орды женщин. При том что многие из них были вдовы и девочки. Причем, конечно, это было на самом деле такое явление, я бы сказала, стремное, опасное даже для них, потому что ведь паспорта в колхозах забирали. Как они сюда приезжали, каким образом, какими путями они эти паспорта получали, и все ли их получали? А ведь это же функционировал жесточайший институт прописки, и возможность зацепиться как-то в Москве и здесь начать осваиваться мало у кого образовывалась.

Наша Аня появилась у нас в доме, когда мне было девять месяцев. Сразу мою маму пленила тем, что, увидев меня – а я была такой здоровый ребенок, толстый, хоть и послевоенный, – и она, увидев меня, воскликнула: «Роза-беломоза!» И для мамы это было всё. Значит, замечательно. Аня была дочерью наших переулочных дворников, которые как раз наш участок нашего переулка обслуживали. Это были очень милые люди, тетя Таня и дядя Ваня Фадеевы, и Аня была их средняя дочь. Был еще старший брат Костя, который как-то обосновался в Москве, работал на каком-то заводе, и младший Вова — мой ровесник. Мы жили в доме пять, а они жили в доме три в дворницкой. Настоящая дворницкая.



А. С. Айзенман. Рисунок. Из собрания О. А. Вельчинской

Дворницкая эта чудесная, потому что все вокруг преобразилось, а она существует в аутентичном виде и сегодня. Я регулярно, проходя мимо, ее фотографирую. Ну просто время остановилось. Эта дворницкая была пристроечкой к замечательному дому №3 по Мансуровскому переулку, где родилась Вахтанговская студия. И там жил Евгений Богратионович Вахтангов. В этом доме, реально. И в этом доме он пережил, в частности, Московское восстание и вот все эти революционные события, перестрелки и прочее. Существуют об этом его воспоминания, с адресом, как они сидели там заблокированные, не выходили, без хлеба, без газет, ничего не знали, а по нашему Мансуровскому переулку как раз проходила линия между белыми, условно говоря, и красными. И вот именно тогда в дом Брусилова попал снаряд, который ранил этого прекрасного генерала, который ни разу не был ранен ни в одном бою, ни на одной войне. И к этому домику вот эта пристроечка. Когда я в весь этот сюжет вникла и почитала, допустим, «Сонечку» Марины Цветаевой, я себе представила вот это, что именно там, в этом дворе и в этом доме, происходило все то, что там описано, потому что в этом доме был настоящий зрительный зал, к которому пристроена была дворницкая. Собственно, там была поставлена «Принцесса Турандот», а в том же дворе жила Ламанова, Надежда Ламанова, которая, собственно, и делала костюмы для «Принцессы Турандот», шила их из какой-то бязи, но так потрясающе это окрашивала и аранжировала, что это выглядело парчой, бархатом и так далее.

То есть двор и дом, и дворницкая — они не абы что. Это такие особые знаковые места. Я представляю себе, какая публика... Каждый раз продолжаю это представлять, какая публика там тусовалась и сновала по этому двору. Какие все эти имена, да? Вспоминаешь невольно. Театральные, поэтические и так далее, и так далее. И это убогое, убогое было жилище. Это была такая крошечная комнатка и что-то типа терраски. И тетя Таня и дядя Ваня спали на высокой кровати с шарами, и их сынок Вова — с ними. И там же жил брат. Ане там не было места, но может быть, как-то бы она там и улеглась, но у нее не было московской прописки. Поэтому она долгие годы ночевала... Дядя Ваня по совместительству со своими дворницкими

обязанностями отапливал котлы в этом большом доме, где жила Ламанова, по Еропкинскому переулку дом четыре. И он там, в котельной работал. И Аня должна была каждый вечер — так, чтобы желательно ее не заметили, хотя, конечно, все всё видели, — пробраться в эту котельную, и там, за этим котлом, не раздеваясь, под каким-то тулупом она спала. Но у нее ситуация, конечно, была не такая плачевная, как у многих других, потому что временная прописка у нее была в нашем жилье. Наше жилье представляло собой тоже одну комнату, но она официально числилась. Каждые полгода мама не без труда это продлевала. Всегда какие-то вставляли палки в колеса. И много лет, до тех пор, пока Аня, наконец, не обрела постоянную московскую прописку, так это все делалось. Потому что то, что я называю «бермудский треугольник эпохи» — это участковый, домоуправ и дворник, они обходили, они могли ворваться, войти. Им обязаны были открыть любое помещение, и если там обнаруживался не прописанный человек, то хорошо, если просто выдворяли. Особенно, конечно, это было чудовищно для людей, которые, к примеру, жили за сто первым километром, были высланы и не имели возможности... Людей прятали в шкафах, под кроватями и так далее. Если уж соседи доносили... Короче говоря, Аня наша жила в Москве на птичьих правах, и вот она стала у нас работать.



А. С. Айзенман. Красная лестница. 1976. Из собрания О. А. Вельчинской

Пока я была совсем маленькая, она, по маминим воспоминаниям, была со мной очень нежна. Она очень любила маленьких детей. Но стоило мне немножко подрасти, как я уже перешла в другую категорию, меня уже никто не называл «розо-беломозой», а она всячески... Она была необыкновенный словотворец. У нее была масса каких-то изумительных народных обзываний. Я была чехморица, косорылиха, бабка тюльпаниха. Все время она на меня кричала: «Чего ты из себя меня корежишь?» Сурова была со мной необычайно. И я не могу сказать, что я от этого... У меня есть, я вспоминаю это ощущение такого... Так как родители ко мне всегда очень хорошо относились. Но я как-то привыкла. У нее было все время дурное настроение, и я в облаке этого дурного настроения все детство прожила. Я не могу сказать, что меня это огорчало. Она никогда не была со мной ласкова. Ну, а собственно, чего бы от нее можно было ждать?

Она была, кстати, очень красивая женщина, венециановского типа, такая спокойная русская красота, замечательная. Венециановский персонаж абсолютно. Но вот с такой... Ну, это понятно. Она жила в деревне. Довоенная деревня тоже была чрезвычайно тяжелое место, да? Она 26-го года рождения. То есть она ухватила голод, ухватила... Где она жила, в какой деревне, я так и не узнала никогда. Раз в году она туда уезжала недели на две. Потом война, а это место, где она жила, было оккупировано — недолго, но было. В это время она простудилась, и она была глуховата на одно ухо, одно ухо вообще у нее не слышало. И воспоминания, я помню, иногда она рассказывала про глубоко довоенные благополучия — какие-то самовары... Но, вероятно, были раскулачены. Я не знаю подробности, увы, очень жаль. Но она бы мне не рассказала никогда это. Ведь это было время такое, что люди вообще ничего о себе не говорили. Мы не знали никаких бэкграундов, никаких корней. Вот сегодняшний день — про сегодня знали всё. Всё друг у друга на глазах. Про вчера-позавчера и еще раньше — ничего.

И эта моя Аня... Маму она очень почитала, уважала, потому что у мамы был всегда авторитет, особенно простые люди ее обожали. А к папе относилась она к моему снисходительно, по-доброму, потому что он такой был — художник и вечное дитя, как и полагается быть живописцу. Тетушку мою недолго любила, но как-то особо тоже не залупалась. С соседями нашими воевала по-страшному, потому что это было единственное место на земле, где она чувствовала себя на своем месте. Она была временно прописана.

И обычно у нас так день строился (а жили в секунде друг от друга, прямо из подворотни в подъезд): она приходила рано утром, мама отправлялась на работу, Аня выходила на кухню и начинала варить макароны. А макароны для нее... Ну это как «Уроки французского» у Распутина, да? Для нее тоже, как для этого мальчика, это была абсолютная экзотика. Это был какой-то прекрасный продукт, небывалый. Она их впервые попробовала, приехав в Москву, и она стала просто фанатом макарон. Макароны в те времена продавались одного вида – такие длинные трубки, в диаметре миллиметров семь, доходили до сантиметра, такого серого цвета. Очень вкусные, прекрасные макароны. Продавали их на вес в кульки из газет. В лучшем случае из такого, знаете, крафта. Но нет, реже, в основном газеты. И эти макароны — они были очень дешевые. Мы тоже их любили. У нас тоже не было особых разносолов и возможностей. И вот для нее это было сакральное дело — с утра она варила макароны. Выходила на кухню. Соседи у нас — никто к ней хорошо не относился. Были такие отношения тяжелые, но она на все это плевала. Надо сказать, меня пристрастила к макаронам. Я их очень люблю, обожаю просто, только сдерживаюсь, но очень люблю, хотя таких вкусных уже нет, конечно. На одни я польстилась, на какие-то белорусские, — нет, разочарование меня постигло. И мы с ней ели макароны, даже я иногда, как мама говорит, запивала грудным молоком, когда она уходила... Декрет же был очень короткий — там что-то месяц. И мама что-то сцезивала и ехала преподавать. И да, маме она говорила так:

” «Иза, чё ты с ими... ты чё с ними разводишь всякую? Они один язык понимают — лопатой в харю!» (смеется.)

И вот с ними она... Они говорили на одном языке, конечно. И так мы жили, и, конечно, Аня стала совершенно своей человек. Но она все время переживала какие-то кризисы. И кризис возраста. Она у нас появилась — ей было двадцать три, допустим, двадцать... Я уже не помню точно. Двадцать два года. Она подрастала как-то. Но замуж она не хотела, это не было ее целью отнюдь. На протяжении всей нашей долгой-долгой дружбы (до ее смерти в 81-м году) ее периодически сватали — за каких-то вдовцов. За какого-то вдового священника (между прочим, Николы в Хамовниках) однажды сватали. Чтобы просто она как-то... Она к этому относилась, я бы сказала, творчески. То есть она принаряжалась. У нее были такие вещи, которые она не носила годами, но, если надо было куда-то пойти... Такая кофта зеленая с поясочком, что-то еще. Она шла к какой-то знакомой, тоже няньке, бывшей, которая выросла и стала парикмахершей, ей делали шестимесячную завивку. Она шла на эти смотрины. Видимо, производила очень хорошее впечатление. Она, правда, была такая статная, такая молчаливая. А потом... А ходила она для чего? Чтобы потом маме моей и соседкам нашим... Не, одна соседка у нее была такая, Анька Конькова. Она рассказывала это все в таких красках и так талантливо! Она, конечно, была очень артистичная. Все валялись от смеха, от хохота. Мама говорила: «Аня, ну, может быть...» «Иза, вот еще чего! Портки чужие стирать! Вот еще!» Вот уж никогда она всерьез к этому не относилась.



А. С. Айзенман. Осенний день. Красные палаты. 1980. Из собрания О. А. Вельчинской

Какое у нее было общество? Как мы проводили время с Аней? Гуляли мы наодном-единственном месте — на Иностранном скверике, около Института иностранных языков, Еропкинский переулок, на углу с Остоженкой, там была наша среда обитания. Все няньки были знакомы, дети были знакомы. И вот эти няньки усаживались — там стояли в те времена

основательные такие скамьи, мастодонты такие, еще с прежних времен, с чугунными лапами, деревянные, очень уютные. И вот в любое время года эти няньки так плотно... У меня где-то есть папин прелестный такой этюд — вот эти няньки. Значит, усаживались эти няньки. Ну и мы тут вокруг чего-то: кто-то играл, бегал, в салки... Я никогда не была подвижным ребенком, признаюсь откровенно, но я всегда слушала, что они рассказывают. Меня страшно увлекали их рассказы. В песочке сажу или, если зимой, из снега кулички леплю, а сама слушаю, чего няньки рассказывают, а рассказы были изумительные. Вы даже в книжке это видели. Я как-то вдруг решила реконструировать эти рассказы, и оказалось, что даже их не надо реконструировать. Они у меня полились — знаете, совершенно как из рога изобилия, все эти истории: как будто у меня какая-то пленка в голове оказалась. Я ничего не придумывала, я просто... То есть может быть, я что-то и придумала — наверняка, — но у меня было ощущение, что просто я записываю. Я написала этот текст, я не знаю, за вечер. Вот сколько мне надо было напечатать времени, и всё. Еще много знаю историй такого рода. Вот, а это ведь было какое время? Ну, естественно, телевизоров ни у кого не было. Правда, радиопостановки слушали все время, «Театр у микрофона» и так далее. Или прямую даже трансляцию. И эти женщины, няньки, которые где-то жили... Жили, как правило, в коридорах, на каких-то сундуках или, может, в кладовках. Ну, кто-то, может быть, в других условиях. И они были в курсе жизни не только своих хозяев, но всех соседей, потому что квартиры-то все были коммунальные. И не просто всех соседей, всех хозяев — всех родственников соседей, то есть широчайший круг.

Это были один к одному бразильские сериалы, но только вербальные. Все эти истории... Меня страшно увлекали вот эти, конечно, всякие... Была страшно популярная тема — люди, которые варили мыло из людей. И эти истории — их было множество разнообразных. Но и не только. Они рассказывали друг другу, все няньки были в курсе жизни всех квартир, всех хозяев, родственников — дальних, ближних — в подробностях. И даже в последующей жизни, когда уже никаких няnek у меня, естественно, не было и быть не могло — и вот я, допустим, вдруг понимала, что сестры Марина и Таня — это те девочки, у которых была няня такая-то, и я всё знала про их семью. Вот так. То есть как-то было забавно. И так мы замечательно жили. Потом шли обедать, потом снова возвращались. Это было принято в те времена — гулять подолгу. Обязательно утром и вечером, в общей сложности часов шесть на воздухе. Воздух был еще более-менее ничего. Ну вообще-то правильно, это здоровая такая история. А также на скверике были...

Допустим, была Эмма Федоровна, у нее была немецкая группа. Мы никогда не смешивались с этими детьми. Это тоже удивительно, странная такая история: дети, которые гуляли с няньками, никогда не входили ни в какие отношения и в контакты, даже не знакомились с детьми, которые гуляли в прогулочных группах. Прогулочные группы — это была как бы буржуазия, а мы были... При том, что маме, конечно, было гораздо бы выгоднее и правильнее меня в прогулочную группу сунуть, и такая попытка была, когда вдруг Аня нас бросила. Мне было пять лет. Ее переманили соседи по лестничной клетке нашей. Собственно, там родился маленький очаровательный Дима, и образовалось двое детей, и ей какую-то надбавку, рубля три, посулили. Но в основном, конечно, она ушла не из-за надбавки. Она очень любила маленьких детей, младенцев. Вот их она как-то обожала. А Димка был прелестный, кудрявый такой. И она какое-то время, наверное, полгода у них... Всю зиму, во всяком случае, она у них работала, а это были... Это и сейчас, и сегодня эта Наташа, к которой она ушла, сестра Димы, — моя ближайшая подруга. Но потом запросилась обратно, потому что, конечно, сравнить мою маму и дядю Гришу — это невозможно было. Вот, но я оказалась на всю зиму такой вот — без няньки.

Поначалу меня попытались сунуть в прогулочную группу к Эмме Федоровне. Как эта Эмма Федоровна, немка, оказалась в послевоенной Москве, почему ей удалось остаться, — это тайна, этого мы не знаем. Эта Эмма Федоровна каждое утро шла мимо нашего окна в бельэтаже. Такая голова, шла такая голова. Она шла на целый день, и она была закутана. Вот я не знаю, как они обходились с сортиром, я не понимаю. Ведь это как она могла целый день так высидеть... И даже памперсов не было. Удивительно. И вот шла такая закутанная Эмма Федоровна. На ней была шляпа обязательно, сверх шляпы платок, потом какая-то шаль. Опухшие ноги, травматическая такая, тяжелая, трагическая, я бы сказала, фигура. С трудом шла. Вот она приходила на этот сквер, усаживалась на эту скамью тяжело. Вокруг нее эти избранные дети образовывались. Она с ними занималась немецким. Это происходило так. Она открывала — у нее была такая книжечка блестящая, такие лакированные странички про девочек-земляничек и мальчиков-черничек, по-немецки, по одной строке. И они изучали из года в год эту книгу. Это называлось немецкая группа. И вот мама меня в эту группу определила, и я туда пошла. Я была рада. Мне нравились и чернички, и землянички, и всё. И вот уже смеркается. Мама видит, что Эмма Федоровна в обратном направлении идет к себе туда куда-то, в сторону Пречистенки. А меня нет. Мама бежит, как безумная, на сквер — и я в темноте сажу там, какие-то куличики леплю. Она просто про меня забыла. Ну, как-то не привыкла еще ко мне. В общем, это был единственный день.





А. С. Айзенман. Второй Зачатьевский переулочек. 1970-е. Из собрания О. А. Вельчинской

Тогда стали искать мне няnek. Это как у Маршака, да? Когда там эту самую няню-кошку в результате нашли для мышонка. Стали искать мне няню. Рекомендовали какую-то Машу. Маша должна была работать с проживанием. У нас была одна комната. Пришла Маша. Наступила ночь. Да, сначала мы с Машей пошли — у нас была прогулка. И эта Маша, к моему глубочайшему возмущению (и вообще просто нонсенс), мы пошли с ней гулять не на мой любимый Иностранский скверик родной, а мы пошли гулять... На Метростроевской улице перед Зачатьевским монастырем такой был, есть маленький скверик. Он и сейчас есть. На месте церкви, которая когда-то там была. Мы пошли туда. Там были ее знакомые. Но для меня это просто оскорбление какое-то. Я страшно была этим травмирована, шокирована. Пришла домой, сказала, что гуляли непонятно где, вообще ужасно, ни одного знакомого ребенка. Как-то я это сформулировала. Наступила тем временем ночь. Родители мои легли на полу спать, а Машу положили на свою кровать. Собственно, аргументом главным, почему тут же отказались от ее услуг, было то, что она не там гуляла со мной (*смеется*). На самом деле родители придумали... Ну невозможно так жить было, это какой-то ужас был. И тогда у меня начались такие...

Я пошла «в люди». Мама стала договариваться. Сначала она договорилась с нашей дворовой соседкой тетей Катей Ковалевой. Она жила в подвале флигеля нашего дома, в глубоком-глубоком подвале, тетя Катя — она была дворником в нашем дворе, в Еропкинском переулке и в нашем дворе тоже, — и вот тетя Катя параллельно со своей дворницкой работой стала моей няней. Это было очень приятное время. У нее была уютнейшая комнатка, она была размером с вагонное купе. Вот так вот две коечки, кровати. И она там жила с сыном своим Витей и дочерью Наташей Ковалевой. Глубокий-глубокий подвал. Окошко выходило в брандмауэр дома, в котором жила Ламанова, сантиметров, наверное, пятнадцать над [землей]. И это был такой густонаселенный московский подвал. Вниз было ступенек, наверно, пятнадцать, не меньше. Там жило много людей, был такой коммунальный подвал. Мне очень нравился запах — это был такой густой, насыщенный аромат. Вот я тогда же думала, тогда же я читала книжки, где Баба-Яга восклицала: «Чую, человечьим духом пахнет!» — я была уверена, что это тот самый запах. То есть, как я сейчас понимаю, это там кипятили белье, варили щи, капусту квасили. Такой вот запах. Проветрить там было нельзя. Это исключено, исключено. Но — как-то существовали люди в этом. То есть у меня самые светлые воспоминания. По цвету это все было черное. Лампочки там были не больше пятнадцати ватт. Там все существовало на ощупь. Такие были привилегированные жильцы этого подвала, чье вот это крошечное окошко — оно и сейчас существует — выходило на Еропкинский переулочек. Там как-то было посветлее. Не на брандмауэр нашего двора, а туда.

Эта Наташа Ковалева была моя старшая подруга. Она вообще командовала. Она такая была — очень держала весь наш двор (она старше была года на три, наверно) — в некотором страхе, а я даже пользовалась какими-то преимуществами, потому что я у них практически жила. Но почему-то с тетей Катей тоже — то ли тетя Катя отказалась, то ли мама из каких-то соображений, — и я из этого подвала флигеля вознеслась на третий этаж нашего дома к замечательным людям по фамилии Трошины. Тетя Поля добрейшая была, милейшая дама, женщина — нет, дамой ее, конечно, никак нельзя было назвать. И муж дядя Саша, который был как бы комендантом нашего дома. Он владел ключами от чердака, от подвала, и он, конечно, за всеми нами присматривал. Ходил он в таком длинном кожаном пальто потертом и сапогах. Маленький человек такой лысый. Такой вот присмотрщик, потому что, когда уже в более поздние времена, когда уже няни у меня не было, мне было уже лет десять, мы купили холодильник, что очень мало кто себе мог позволить... А холодильник мы купили тоже

по счастливому случаю, потому что папу пригласили принять участие в съемках фильма «Василий Иванович Суриков», и папа со своим другом дядей Колей Савёловым, который тоже ученик Крымова, как и папа, они должны были за зиму скопировать огромное количество суриковских работ. В основном вот эти подготовительные портреты к «Боярыне Морозовой». И, во-первых, дали сразу очень много красок, просто гору красок. Папе хватило на полжизни вообще. Потом заплатили какие-то очень хорошие деньги, и на эти деньги мы купили холодильник. И дядя Саша пришел поинтересоваться, откуда у вас такие деньги, что это вы холодильник купили. «Саратов». А папа простодушно объяснил, что вот он, да... Они хорошо очень к нам относились. Он рассказал: вот он снимал кино, принимал участие в фильме. Всё честно рассказал. Но это, кстати, было хорошо еще, кроме всего прочего, что я... Той зимой у меня был какой-то нескончаемый бронхит. Я долго не ходила в школу, а ходила все время с папой в Третьяковку. Благодаря этому я как-то хоть приобщалась, благодаря этому «Сурикову», фильму.

Да, а я — тогда, в пять лет — брошенная Аней, я стала ходить туда наверх, подниматься на третий этаж самостоятельно к тете Поле. У нее была такая светлая квартира. Окна выходили на дом Лоськова, архитектора Зеленко, где жил Брусилов. Это такое причудливое в Мансуровском переулке, эклектичное такое здание. Там какие-то испанские мотивы и какие-то, я не знаю, какие-то готические, всё на свете, и светло, дом такой красивый-красивый, небо. И это всё так мне и запомнилось в обрамлении огромных, до потолка, фикусов. У тети Поли справа и слева от окна стояли фикусы. Они росли в огромных баках для белья оцинкованных. Такие деревья. Было очень красиво. Мне эта картина — эти фикусы, этот дом Брусилова — очень как-то... И небо московское. Третий этаж все-таки. У нас-то был первый. Я там даже спала. У них была такая кровать, у этих супругов. Это такой интерьер был вообще... Вот эти фикусы, представьте себе, там. Какие были занавески, я не помню. Но тюль, конечно, был. А кровать была за таким театральным пологом — из такого, знаете, бархата кардинального цвета. Такой плотный, темно-красный, кардинальский, знаете, ценный такой цвет. И за этим пологом меня тоже днем клали поспать на эту супружескую кровать. Там были две девушки, девочки. Четырнадцатилетняя Тамара, Тома, и Шура — существенно старше. Очень хорошие.



Дом Лоськова в Мансуровском переулке. С [https://um.mos.ru/houses/dokhodnyy\\_dom\\_p\\_v\\_loskova/](https://um.mos.ru/houses/dokhodnyy_dom_p_v_loskova/)

И даже у меня с Тамарой... Я однажды украла у Тамары двадцать копеек. Это было ужасно просто. Как это случилось? Тамаре оставили двадцать копеек на дорогу, а я к тому времени пристрастилась к мороженому. То есть как пристрастилась? Я о нем мечтала.

У нас в семье была такая традиция (видимо, издавна), что впервые ребенку разрешали попробовать мороженое в пять лет. А я-то родилась 27 января. Значит, зимой. И вот наступило это время, когда мне уже пришла пора узнать вкус мороженого, и Тамаре поручили вместе со мной пойти на Крымскую площадь и купить мне эскимо. И мы с Тамарой и с какой-то ее школьной подругой действительно пошли на Крымскую площадь и в каком-то таком... Я этот день помню прекрасно. Вот сейчас таких не бывает почему-то, а в детстве были. Очень, видимо, холодно. Такое марево. А мороженое продавали из таких — на колесах такие тачечки, ящики на колесах и закутаннные, предельно закутаннные продавщицы. На улице все это продавалось. Все в каких-то невероятных... Закутаны в этих платках, халат тут еще сверху. И она доставала из этого[ящика]. И мне взяли. Купили это эскимо. Томка мне дала его в руки, это эскимо. Я его несу, в фольге. Такие конусообразные в те времена были и в тонкой фольге. Эта фольга в инее, и я ее всю дорогу облизываю — в восторге, просто в восторге. Приходим домой. Еще бабушка моя была жива. И вот, значит, Оле купили мороженое. Сейчас вся семья будет присутствовать при этом

знаковом семейном событии. И что же происходит? У меня берут это эскимо, его разворачивают, кладут его на какое-то блюдечко, и вся семья, мы все идем на кухню, ставим это эскимо на плиту — рядом с конфоркой, чтобы оно растаяло. А я всю дорогу облизывала. Когда оно уже нужной кондиции, растаяв, достигает, мы идем домой, и нашей ложечкой с монограммой бабушкиной, как полагается, из приданого я это мороженое поедаю. Я помню такое, с одной стороны, разочарование бесконечное. С другой стороны, очень вкусно. То есть, в общем-то, в результате я сейчас уже люблю такое мороженое, знаете, растаявшее.



Фото Карла Майданса. 1959. С <https://kapuchin.livejournal.com/470333.html>

И я, запомнивши эту историю... Однажды у тети Поли я вижу на столе двадцать копеек, которые оставили Томе на дорогу. Что это было? Это был единственный случай в моей жизни. Нет, еще один раз я конфету одну из гостей унесла для мамы. Это потом уже, другая история. И я взяла эти двадцать копеек и положила их себе в варежку. На что я рассчитывала? Я сама купить не могла, я не умела. Что это было? Это был ужас. А тетя Поля это сразу поняла. Когда мы пришли с какого-то гуляния, она со мной как-то очень по-человечески. Она сказала: «Оля, ты не видела там двадцать копеек?» Я чего-то там... «Как жалко, что не видела эти двадцать копеек! Знаешь, если ты их увидишь, ты их положи вот сюда на стол». Она очень хороший была, добрый воспитатель. Ну, я так и сделала (*смеется*). И как-то это было замечательно. Вот она простой человек, она могла, не знаю, пожаловаться. Нет. Замечательная женщина. Я, собственно, с ней была до ее смерти. Мы так и жили в этом доме. Она уже потом была в некотором Альцгеймере...

Возвращаемся к Ане. Тем временем Аня абсолютно разочаровалась в этом новом месте работы. Дядя Гриша был зануда редкостный. Тетя Нюся-то была чудесная. Это вот такие наши друзья с 18-го года и по сегодняшний день, много поколений. Этот дядя Гриша был нудный, противный дядька. В общем, Аня заприсилась обратно. Дима тем временем подросток. Уже не было той прежней младенческой прелести. Ну и конечно, мы радостно ее приняли, радостно. И Аня с нами стала ездить на дачу. Она всегда была в плохом настроении, всегда. Я не помню ее смеющейся. Но при этом, когда что-то рассказывала, это было очень смешно. Она не смеялась никогда, она была настоящий сатирик профессиональный. То есть все вокруг валялись, а она это все всерьез. И начался новый, следующий этап нашей жизни с Аней, и я помню, папа получил заказ от комбината живописного.

Он должен был написать картину «Весна», и для этой цели где-то уже буквально в начале марта снял он какую-то комнатку, угол, в Абрамцево, где он писал подготовительные этюды. Я уже училась в первом классе. Наступили школьные каникулы весенние, и мама с большим трудом уговорила Аню, что мы вдвоем съездим на несколько часов в Абрамцево. А Аню уговорить было очень трудно, потому что Аня существовала в нашем крошечном пространстве, района нашего, нашего переулка по существу, двух переулков. Для нее Москва не существовала. Какие-то у нее были тетушки, которые где-то жили в Марьиной роще, но это только семейный был выезд. Она абсолютно, прожив в Москве буквально тридцать с лишним лет... Она только в конце жизни освоила Москву, когда им дали квартиру, и она работала на Электрозаводской на какой-то меховой фабрике. Она долгие годы Москву... Даже в Парк культуры — это была проблема ее выволочь, это были какие-то считанные разы. Она не ходила в кино. Она абсолютно была вне этого, этой городской культуры, условно говоря. Мы существовали — вот Остоженка, Метростроевская, Кропоткинская. Тут да, тут мы очень хорошо существовали. Мы знали все магазины, все очереди, где что дают. Это всё — мы были в курсе. Вдвоем, в компании других нянь и детей, как-то существовали.

А тут мы поехали в Абрамцево. Замечательная уже весна. Но такой снег еще, наст такой — корка. Такая проламывающаяся. Мы, естественно, в валенках с калошами. Все, как полагается. Гуляем по лесу с папой, и Аня в страшном раздражении ужасно ругается. И ругается она такими замечательными народными словами. А папа сзади идет и в блокнот всё записывает, все эти слова. И я вот помню, что это было десятка три... А она довольно быстро это уловила и уже стала работать на публику, что называется, уже творчески отнеслась к этому. Я безумно жалею, это потерялось. У папы был миллион блокнотиков.



Никогда больше не попало, и остались только отдельные слова. А это на самом деле был прекрасный фольклор. Наверное, специалист мог бы определить местность, откуда это все, потому что они были такие... Ну, как это всегда и бывает, да? Это было очень жаль. Она тут же в эту игру включилась, делая вид, что она просто в ярости.

А потом, когда я перешла во второй класс, стало совершенно очевидно, что уже я вполне... Ну, конечно, и деньги. Всегда, в общем, жили очень скудно. Мама работала, папа — проблемы. Художник, живописец. В общем, до поры до времени, пока он не стал уже преподавать, и не появилась какая-то стабильность, это все было. И, в общем, решили отказаться от услуг Аниных. Но ее, я уж не помню, кто... Она устроилась работать в семью кого-то из Толстых. Они жили в Гагаринском переулке. Какая-то очень милая интеллигентная семья. Такая девочка Даша там была милая, которую Аня ужасно полюбила. И даже у меня есть подозрение... Даже не то, чтобы я испытывала ревнивые чувства, но мне казалось, что она ее не обзывала никак. Она о ней очень хорошо и тепло говорила. Дашу она полюбила и там жила, но поскольку рядом, она нас тоже не забывала. Не забывала и постоянно приходила, а потом...

А мама моя, она была очень озабочена Аниным... Она понимала, что... Ну, как, собственно, цивилизованные московские женщины понимали, что нет никаких перспектив у этих работниц. Надо как-то их... И очень многие, собственно, практически все эти няньки, домашние работницы, они так или иначе вышли в люди. Многие шли работать на какие-то фабрики, обретали там даже возможность получить жилплощадь, и многие довольно быстро. Какие-то хрущевки начались, где-то поселились. В общем, люди как-то здесь обживались. Но не наша Аня. Мама для начала... По-моему, первая, одна из первых ее попыток к чему-то ее пристроить... Она ничего не умела. Ее пристроить к чему-то хотела, вот она ее устроила на курсы кройки и шитья. И Аня пару раз сходила, и у нас долго-долго-долго в доме жила — на таком картоне распяленные такие большие темно-синие трусы — выкройка, которую они... Выкройка была сделана, а надо было... И так она вся была в булавочках, такая колючая (*смеется*). Надо было эти трусы сшить. Это не случилось, так это у нас и осталось. Хотя мама заплатила какие-то деньги, сколько-то там рублей за это обучение. Потом, уже когда ясно было, что... Уже, собственно, Аня у нас не работала. Вот я только не помню, это было на каком этапе. Да, это уже после Даши, конечно. Даша же тоже подросла. Тогда мама — вот ее просто мечта-мечта была, чтобы Аня работала в фабричке маленькой, которая на углу Бутиковского переулка и Зачатьевского, который назывался улица Дмитриевского. Была такая маленькая фабричка по изготовлению постного сахара. Это было очень приятное такое местечко. Оно всегда привлекало к себе окрестную публику, потому что можно было подойти к окнам и прикинуть. Они были затянуты мелкой сеткой металлической, и там, за этой сеткой, мы наблюдали процесс творения постного сахара.

**Екатерина Андреевна Голицына:** Объясните, что это такое.

**О. В.:** Объясняю. Может быть, немножко отдаленно это похоже на сливочную помадку. Но только твердое, не мягкое, а твердое. Женщины в белых робах и белых каких-то штанах широких, головы их, волосы — они были закрыты, завязаны в такие косынки, а-ля Солоха. Знаете, с такими вот наверху. То есть это все отслеживалось. Видимо, были там правила такие. Эти женщины в немножко тускловатом свете, неярком, они на больших столах из каких-то чанов... Варилось это где-то, видимо, в стороне, сам процесс этого варения я не помню. Я только видела, мы все видели, как это разливали на эти, на какие-то противни. На этих столах стояли огромные противни. И эта масса, она была трех оттенков. Она была такого довольно анилинового розового — меньше всего мне это нравилось, салатového (то, что в народе называется «салатовый») и такой — топленое молоко. Да, наверное, такой цвет можно назвать. Вот, это какой-то был самый естественный цвет, без красителей. Это вот разливалось — такие пласты — ну, наверно, сантиметр. И эти пласты застывали, и когда, видимо, уже почти застывали, то такими проволоками, нитями металлическими... Не проволоками — такими металлическими нитями эти большие пласты рассекались на квадратики и ромбики. Видимо, как фантазия там, как им хотелось, этим девочкам, женщинам. И потом, по вечерам, уже где-то в сумерках, подъезжала такая машинка закрытая, небольшой фургончик, и окна раскрывали, и эти подносы с постным сахаром перегружали в фургончики, откуда они уже отправлялись в магазин. Это было, надо сказать, лакомство очень хорошее. Оно было очень дешевое, совсем дешевое, из разряда «подушечек», конфет-подушечек. Но приятное очень. И оно было, конечно, абсолютно натуральное. Пользовалось огромным успехом в народе, потому что действительно было более чем доступным. То есть в любом уважающем себя простом доме не какие-нибудь там «Мишки на севере», а этот постный сахар разноцветный. Довольно долго он продавался, я тоже его любила. Последний постный сахар я покупала в булочной на Арбате, но это было много лет назад. Почему его сейчас нет, не знаю. Очень жаль. А может, он где-нибудь и есть. И мама, она живо себе представляла, что в этой очень позитивной, экологической атмосфере правильной нашей Ане самое место. И вот она там будет... Мама как-то видела. Она пошла к этому директору, договорилась. Он ее брал уже.

Но нет. Аня не пошла туда работать, а пошла по наущению своих теток — у нее были такие благополучные тетки... Тетки были скорняки. Причем, видимо, очень квалифицированные. Работали они на какой-то меховой фабрике в районе Электроставской, если мне не изменяет память, или Семеновской, где-то там. И вот они эту Аню ... Но научить Аню, конечно, ничему было нельзя, никакому скорнячному делу, она была как-то закрыта. Она вообще, на самом деле, должна была жить в деревне. То есть, если Ахматова написала: «Меня, как реку, суровая эпоха повернула», — да? «Мне изменили русло», «я своих не знаю берегов» — про Аню та же история. Это касалось не только интеллигенции. То есть Аня свои-то берега знала. У нее была вот эта деревня. Но она не могла в них находиться. И, конечно, она абсолютно к городу ну никакого отношения не имела. И они ее устроили на эту меховую фабрику на чудовищную работу: она должна была перебирать и сортировать меховые остатки, обрезки, без всяких, естественно, респираторов — там просто речь не шла. То есть ничего ужаснее для человека придумать было нельзя. Она работала там сколько-то лет, сейчас я не помню точно, сколько, но довольно много лет. Она вдохнула в себя тонны этого ужаса. Да, а человек она была абсолютно здоровый. В те времена, когда она работала у нас и у Даши, у нее было завидное здоровье. Она вообще никогда не была у зубного врача. Она была изумительная белозубая такая. Улыбки, правда, ее я не помню, не помню, чтобы Аня улыбалась, просто не помню. Но, тем не менее, зубы ее я помню. Она была здоровая такая, нормальная женщина. Она рухнула в какое-то просто, я бы сказала, сверхскоростное время, просто мгновенно, безусловно, от этого всего. Да, а работа... Она была очень расторопная, где не требовалось приложить какую-то — это она чего-то не могла, — мысль, интеллект или что-то. Притом что она вовсе не была дурочка, отнюдь. Вот, например, на даче: мы где-нибудь в деревне на Оке жили — она потрясюще собирала ягоды, страшно быстро. Такие вот простые вещи, крестьянские. И так же она сортировала этот ужасный мех. И в результате на этой совершенно ужасной, низкооплачиваемой (оплачивали, вернее, по выработке) работе она сумела заработать себе такую

пенсию, как заработала мама, будучи заведующей кафедрой. То есть у нее пенсия по тем временам была 120 рублей — максимальная пенсия. И Аня на этой чудовищной работе заработала себе такую пенсию. Но заболела. И она до пенсии не дожила полгода. Она ушла уже. Ей пришлось уйти с работы за год до пенсии, и она умерла летом. Это было совершенно ужасно. Я не была на ее похоронах, потому что так случилось, что моя дочь попала в очень тяжелом состоянии в больницу, критическом. И я, и моя мама — мы были с ней в больнице в Раменском. Папа только был на похоронах Аниных. А она — у нее случился моментально... Не моментально, а обрушился ужасный диабет. Меня тогда потрясло — она в течение двух-трех месяцев лишилась всех зубов. Они у нее просто выпали. То есть с ней случилось что-то ужасное. При том, что она мечтала об этой пенсии, она бы ушла в тот же день. Она мечтала какое-то... Они уже к тому времени жили очень далеко, где-то, не знаю даже, не помню, вернее, в каком районе им дали эту квартиру, выселили из их дворницкой, но к тому времени у них уже ни в этой дворницкой... Это мне уже было, когда она умерла, тридцать два года.

И в течение всех тех лет, когда она уже работала в этой меховой фабрике, она каждый вечер после работы приезжала к нам. Как бы она приезжала в наш переулок, но, поскольку мы были ее практически родственники, она какое-то время прогуливалась по переулку... У нее была Лиза, подруга. У нее вообще были такие несколько подружек, из прежних нянь, три или четыре. У них у всех были названия: Лиза была «жопа в три раствора», такая была «жопа печеная», «москвичка — в жопе зажженная спичка». Она не называла их Лиза, Таня, Маня, она называла их так. «О! Бежит! Москвичка — в жопе зажженная спичка, куда прётся? Куда прётся?» Та добродушно отвечает, иду, там, из... Ходила, в «Тканях» была, сейчас иду в четвертый. По магазинам по местным. Лиза такая добродушнейшая жила в тринадцатом доме. И вот так она прогуливалась. Потом шла к нам. У нас как-то не запиралось ничего. Входишь, откроет кто-нибудь ей квартиру, соседи. Она чего-нибудь там — помоем посуду нам. Или просто гречневую кашу себе сварит, макароны. Ну как — она была совершенно свой человек, и это было очень уютно, очень приятно. И начинает рассказывать свои истории про меховую фабрику или то, что она по дороге где-нибудь слышала. Но это было блистательно. Причем она, надо сказать, пока она не работала на меховой фабрике, она таких выражений всяких — никакого мата, никаких слов у нее не было в лексиконе. Тут они появились. Но они появились не как сор, мусор и бяка, а как обозначение реальных каких-то органов. Она нам рассказывала какие-то истории. Наблюдательна, точно была в характеристиках необыкновенно. И там она влюбилась. Влюбилась она в одного скорняка Семена, еврея, такого очень, видимо, — то, что она нам рассказывала, верно передавая его интонации, — абсолютно местечкового человека, фронтовика, который, видимо, ее оценил как-то. Нет, там не было никакого адюльтера, об этом не могло быть и речи. Но он, конечно, видимо, ее оценил — ее и внешность. Она скончалась — ей было пятьдесят четыре года всего, то есть вообще она была молодая женщина. И он оценил, наверно, и внешность ее, и ее остроумие, и какую-то ее небанальность. Она была совсем не скучный человек. И вот они дружили как-то. Ну, она была явно, конечно... Он был многодетный одноногий инвалид, который изумительно кроил какие-то воротники очень высокого класса. Она тоже этим очень гордилась, что у нее такой друг. Даже я какие-то, чтобы она нравилась Семену, я иногда делала, допустим... Перепечатывала целый том, какую-то монографию о том, как лечиться от всего сосанием растительного масла (*смеется*). Вот такие вещи. И это, видимо, очень повышало ее акции: какие у нее знакомые, ее практически родственники. И всё это грустно и печально завершилось. Да, она всю жизнь еще, сколько она жила в Москве, они с тетей Таней подрабатывали. Например, они мыли полы практически во всех коммунальных квартирах этого огромного дома, где жила Ламанова. Там, я не помню, что-то четыре или пять этажей. Такой модерн, такой великолепный дом. Выстроен он был где-то году, наверно, в 13-м — 14-м, где купил эту квартиру для Ламановой ее муж Каютов, который в 1920-е же годы был расстрелян на Лубянке. И это огромные квартиры, знаете, с такими коридорами гигантскими. Отличные квартиры. И вот тетя Таня с Аней все эти квартиры мыли. И нашу квартиру они мыли. Зарабатывали какие-то деньги дополнительные. Потом, Аня очень любила — мы ей всегда отдавали — она сдавала банки-бутылки, вот это всё.



Дом Ламановой. Еропкинский переулок, 4

В результате где-то уже — это было практически в конце, незадолго, года за два до конца ее жизни, она решила маме открыть эту тайну (единственный человек, кому она доверяла) — сколько у нее денег. Деньги лежали дома реально в чулке. Это была какая-то огромная сумма — по тем временам для нас совершенно фантастическая. Я не помню, какая, но мама пришла совершенно пораженная. Говорит: «Ты знаешь, сколько у Ани накопилось денег?» Какая-то фантастическая сумма. Да, а у нее к тому времени младший брат давным-давно вырос, в армии отслужил, женился, родился ребенок. Невестку она страшно не любила. Родители были живы. И вот она попросилась к маме: «Иза...» Она прослышала, или до нее как-то дошло, что есть, например, сберкасса, и они с мамой пошли в эту сберкасса, и эту очень большую сумму, собранную у нее, они отнесли (она одна боялась, естественно) в эту сберкасса. Причем она всю жизнь одевалась в отрепье. У нее были хорошие предметы какие-то, но эти вещи она не носила. Она их одевала раз в году, когда шла на какой-нибудь праздник, допустим, на Пасху, в гости к тетке. Да, мама ей постоянно, как тогда полагалось, в те времена, и потом, наверно, Толстые так же себя вели — дарили ей отрезы. Это полагалось дарить, допустим, какие-нибудь сатиновые отрезы. А мама дарила ей даже крепдешиновые, которые ей перепали от кого-то. И у нее лежало все. Были какие-то хорошие вещи: какие-то сапоги, я помню, она купила. Она их сэкономила, не носила. Потом решила их примерить — они скукожились, уже на ногу ей не лезли. В общем, это все коту под хвост. А ходила она в каких-то многослойных старых кофтах — ну уже совсем вот... Но у нее было. А мечта ее была — о золотом крестике. И вот незадолго до конца она этот золотой крестик купила. Но к золотому крестик нужна была цепочка. А это все, кстати, было в те времена очень большим дефицитом, не просто купить. И вот она говорила: «Ань, почему ты крестик-то не носишь?» «Да у меня нет цепочки». А у меня на работе была такая Ася Гальперина, наша подруга любимая. А у нее муж был дипломат, очень крутой. Я говорю: «Ась... Вот как бы нам золотую цепочку?» Она говорит: «Ой! Да я могу тебе ее...» Ну, продать за сколько-то. Но на цепочку Аня не решилась потратить. Так, в общем, этот крестик она не надела, это очень было печально, надо сказать. Как-то она хотела очень.

А как это все случилось? Она попала в больницу. Лето это было очень жаркое. И вот она мне звонит. Я дома была. Мама была на даче с моей дочерью в Кратово. Звонит Аня. Ужасным голосом, просто паническим говорит: «Оля, скажи Изе, чтобы она ко мне приехала». А страшная жара, страшная. Какое-то лето было 81-го года очень жаркое. И я говорю: «Мам, ты знаешь, звонила Аня, просит приехать, но я тебя прошу, не едь, потому что такая жара...» А ехать надо куда-то очень далеко. Я говорю: «Страшно жарко». Мама говорит: «Нет, я поеду». Поехала. И приехала в ужасном состоянии мама и говорит: «Ты знаешь, это что-то ужасное». У нее началась гангрена. Рука черная — это от диабета ли или... В общем, черная рука. Ужасно мучительно все. Но съездила, она что-то попросила, какие-то поручения. И на следующий день звонят и говорят, что она умерла. Ну, в общем, конечно, слава богу, что мама съездила. А у нас как раз буквально в этот же день Наташу на скорой в больницу в тяжелом, на грани, можно сказать, тоже состоянии... Так что даже не простилась я с ней. Но вы знаете, я как-то при всех... Я не могу сказать, что у меня с ней было... Нет, ну потом уже, конечно, когда я не зависела от нее, как ребенок, я иначе ее воспринимала. Она действительно стала член нашей семьи. То есть, появившись у нас в 48-м году, она прожила с нами, так или иначе до 81-го. То есть это, конечно, я бы сказала, связь почти кровная. Причем эти родители... Папа ее пережил буквально недели на две, дядя Ваня. А родители ее тоже были милейшие, какие-то славные очень люди. Она на них была не похожа даже ни внешне, никак. Они какие-то были немножко другие. И они были дворники, и я... Опять же из самых радостных детских воспоминаний — это московская, в те времена снежная, посверкивающая зима, и мы все, я вот лично, мы трудимся — мы убираем снег, скребем наш переулок. И мне это страшно нравилось. Я вообще хотела стать,

конечно, дворником. Особенно зимним дворником. И, кроме того, я от них почерпнула много всяких сведений, потому что они всё знали про наш переулок: кто где живет, что, чего. У меня как-то это въелось, в мое сознание. Вот, так что вот история про мою няню.

Какие-то эпизоды... Вот я вспоминаю, допустим, как мы с бабушкой... Это один из последних бабушкиных пленэров. Это, наверное, год 52-й, потому что в 53-м она уже была почти слепая. Я совсем, значит, маленькая. Мне года четыре, не больше. И вот мы сопровождаем бабушку в Парк культуры. Бабушка со своими цветными карандашиками фаберовскими, со своим альбомчиком. Сидим. Видимо, где-то середина сентября. И бабушка... Там тоже такие были скамейки — мастодонты такие. Сидит бабушка на скамейке. У нее этот альбомчик ее из прежних лет еще, из прежних времен, и карандашики. Она рисует клумбу. А на клумбе какой-то мужик в галифе... Еще все донашивали военную одежду. Орудует какими-то, выдирает какие-то растения. И ко мне очень по-доброму... Я ему помогаю. А на соседней скамейке сидит Аня, страшно злится, вся закутанная, злобная такая, ее прямо трясет — вот как она есть. Ее заставили идти в Парк культуры, сопровождать. В таком состоянии ужасном, и бабушка — она даже побаивается. (Бабушка была дама настоящая. С ней какая-то дистанция была ощутима, и никаких заигрываний с простонародьем, ничего этого никогда.) Такое ощущение, что ее раздражает все это рисование, но что удивительно... Как-то это у меня в сознании связано. Видимо, это было вскорости после этого. Вдруг Аня — это единственный случай — она берет мой альбом. А у меня был такой альбом, где я сама рисовала, где я просила папу чего-нибудь нарисовать иногда и прочее. И рисует букет. Причем такой букет цветов — как может, причем абсолютно уверенная рука народного мастера, не отрывая. Она рисует изумительной красоты цветы, какой-то орнаментальный букет. Причем я помню, что для меня это был просто шок. Я поняла, что лучший художник из всех, которые меня окружают, конечно, Аня (*смеется*), потому что ни бабушка, ни папа, ни наши знакомые ничего похожего даже не могут по красоте нарисовать. И она причем это с легкостью... Знаете, так вот какой-нибудь жостовский поднос люди рисуют — такие, которые всю жизнь — вот так она рисует — какие-то розы, что-то. То есть, во-первых, мой взгляд на нее переменялся. Я поняла, что она просто гений. И потом я много раз ее просила: «Ань, ну нарисуй!» Она с яростью это дело отметала, сердилась ужасно. Вот такая загадка российской души.

Е. Г.: Потрясающе.

О. В.: Вот такая женщина. И, конечно, я ее помню всю жизнь, и говорить тут не приходится. Она из самых основополагающих людей.

Е. Г.: Ну, мы уделили достаточно ей внимания.

О. В.: Да.

Е. Г.: Пойдем дальше. А то мы не успеем. У нас ограничено...

## Воспитание детей, монашеские халаты и поиск шпионов

О. В.: Чего теперь рассказывать?

Е. Г.: Ну, интересно то, что было до школы еще. Детский сад и пионерский лагерь.

О. В.: Детский сад. Так, по поводу детского сада. Конечно, мечта моих родителей, даже не родителей — папак-то особенно в это не врубался. Даже и моя. Я очень хотела в детский сад, чтобы меня устроили в детский сад. Но это было нереально. Детский сад тогда был недоступен, в общем-то. Были ведомственные сады. Ну, вероятно, были районные, но, видимо, никаких шансов устроить меня туда не было. Вот моя подруга, Наташа, к которой в какой-то момент убежала Аня, моя няня, она ходила на пятидневку. У нее мама работала в музее Красной армии. И там был при этом... И мы завидовали, что Наташка в детском саду. Почему-то нам казалось, что это прекрасно. А мы во дворе все болтались. Но однажды... Это был год такой, конечно, специфический, лето 53-го года. Вы представляете: умер Сталин. Перед этим борьба с космополитами, «дело врачей», и маму уволили с работы. Папа, правда, работал. Дедушка тоже, Таня — все готовились к депортации. Всё прекрасно понимали... Ну, готовиться не готовились, но ожидали. Тут все переменялось. Маму моментально взяли обратно на работу, а папа моментально убежал из своего копейного цеха. Мама сказала: «Алеша, уходи. Всё, я на работе». Он не мог это выносить. То есть много лет выносил, но тут он ушел. И вот наступает лето 53-го года. Папа в полном счастье уезжает к родственникам в Казань (у нас там пол-Казани родственников), где он в состоянии абсолютного счастья пишет прекрасные пейзажи, общается с милейшими нашими родственниками и так далее. А мама, чтобы поправить немножко, хотя бы чуть-чуть, наши материальные дела, на все лето подражается работать в приемной комиссии в институт. То есть никакого отпуска у мамы. А меня устраивают — еще успели от копейного этого цеха пресловутого последнее такое добро — в некий на все лето в детский сад, в Калистово. И мне очень все это пришлось по душе. Как-то мне показалось... Хотя я сейчас думаю, что на самом деле мне там так безумно нравилось? А это было устроено так. Для этого детского сада снимали избы, и одна группа жила в одной избе. Я была в средней группе. Младшая в одной, старшая в другой. Директор жила еще в какой-то избе. Все по этому Калистову растеклись. Хотя там, надо сказать, были суровые обстоятельства. Например, там были такие странные запреты... Вот ночная нянечка, которая стерегла там... Такие были палаты, коек двадцать стояло как минимум. Большая комната. Какие-то, я не помню, кровати это были, наверно, не раскладушки. Вот это я точно не помню. И нельзя было, с одной стороны, как-то опростоволоситься и опиздаться или обкакаться, но, с другой стороны, няньки ужасно сердились... Да, стояло посередине ведро, такая параша. Но почему-то няньки ужасно были недовольны, когда дети шли ночью на эту парашу. Поэтому со многими случались ужасные истории. Со мной, в частности. А самым главным в нашей палате и в нашей группе был нынешний художник-мозаичист Феликс Бух. Это был очаровательный мальчик красоты какой-то неземной, весь в черных кудрях. Вот такой же зажигательный и болтливый, как сейчас. Вы с ним не знакомы? Ну, это даже странно (*смеется*). Его знают все. Это такой страшный старичок, но с тем же темпераментом. В общем-то, хороший, добрый. Потом уже по жизни я о нем много хорошего узнала. Талантливый, кстати. А тогда это был такой зажигательный малый, который когда с кем-то это происходило (происходило ли это с ним, я не помню, надо, кстати, его спросить при встрече), — он объявлял всем бойкот. Феликс, со своей стороны, этим опростоволосившимся объявлял бойкот, а няньки и воспитательницы наказывали иначе. Пока они перестылали эти наши постельки изгаженные, этот ребенок провинившийся



должен был голый стоять на скамейке. Это было неприятно вообще. Да, а со мной все время происходили там какие-то вещи. Я очень плохо жару переношу. И так и потом, и в лагере была та же история. Например, если мы там гуляли на жаре, то у меня случались тепловые удары. И таким образом, я довольно много времени проводила в изоляторе. Это было скучновато. Но в какой-то момент изолятор переполнился, потому что все заболели свинкой. А дети все остальные — они были постоянные детсадовские персонажи. А я была новенькая, с улицы, никогда не была в детском саду. То есть меня надо было изолировать от общества, и меня изолировали, поселив в семье директора нашего детского сада, заведующей детским садом. Очень милая женщина, которая жила тоже в такой избе со своим внуком Колей, который был на год меня старше, и с дочерью. И вот это было счастливое время моей жизни, счастливейшее лето. Потому что я впервые ощутила, каково это — быть свободным человеком. Я там жила, меня кормили. Но больше...

Е. Г.: Чем кормили?

О. В.: Вот тем же, что они ели сами там. Ну, очень просто жили. Гречневая каша — вот это основная была еда. Я за одним столом с хозяйками сидела и ела то, что они ели. Меня никто не обижал, никто не подвергал какому-то ostracism, но как-то... Эта директор, заведующая детским садом (не помню, как ее звали), она была ужасно занята детским садом. У Коли была няня. Няня меня в упор не видела. Колина мама приезжала вечером после работы. И я была свободный человек. То есть я ходила по этому поселку, по какому-то ближнему лесу. Я это все помню, и мне это страшно нравилось. У меня появились какие-то знакомые девушки-малыры. Они жили в избушке лесной. Я к ним приходила в гости. Они меня чем-то угощали, какими-то вафлями. Да, у меня были свои продукты, кстати, еще при этом. Потому что родители передавали передачи, когда-то это было. Я могла, например, есть шоколад, когда хочу, если он у меня был. Никто у меня ничего не забирал. Самое замечательное было, что я могла не раздеваться на ночь. А одежда была сложная, потому что было холодное лето 53-го года. Так все было. Ходили в чулках, в сложных лифчиках с какими-то резинками, то есть мы были многослойные. Потом платьице байковое, а на платьице обязательно фартук, и фартук этот был непростой: он был с какими-то переплетениями, пуговицами, с какими-то вафлями. То есть одеться, так вот запросто — это... Единственное, что я снимала на ночь, — это сандалии. Хотя тоже без большой охоты. Но, надо сказать, с сандалиями тоже была такая проблема: выяснилось, у меня за лето нога выросла. Но, когда мама ко мне приезжала (каждый выходной, кстати, навещала меня мама), я почему-то не сообразила ей сказать, что мама, у меня сандалии... И я поняла, что это ничего страшного, что если поджимать пальцы, то прекрасно ходишь. И у меня так они и остались скрюченные. Вот я, например, женщина, которая никогда не носила босоножек по этой причине. Так же, как в Японии. У меня все равно нога огромного размера выросла, но со скрюченными пальцами. И так я жила. Я даже помню запахи, эти запахи — какая-то в Калистове речка протекает, как я хожу по этой... Приходила, навещала своих одноклассников, и мы с ними через забор общались, и я хвасталась, как я живу. А они там все, не знаю, черт-те как. Кстати говоря, со мной в гостях у директора ни разу ничего плохого не случилось. Мне там можно было выходить, пользоваться горшком каким-то и прочим. Хорошо было там, очень хорошо. Но, оказывается, ничего это не помогло. Я таки заболела свинкой. И болела я уже свинкой — надо сказать, тоже никто не заболел обо мне. Температуру мне не мерили. Но рожа у меня была такая свиньячья. И в какой-то момент вдруг приезжает мама и видит меня в этой свинке, и мы с ней едем — забирает меня оттуда, и мы с ней уезжаем в Москву. И я помню такое ощущение... Я не могу сказать, что счастья. Я в такой набитой — тогда же такие набитые ходили электрички. Или даже не электрички это были, или все-таки электрички. Не помню. Этот поезд, и я сижу на своем чемодане, на котором написано: «Оля Айзенман», — и какие-то ноги, ноги такие взрослые вокруг. Я все-таки больная. Но самое ужасное, конечно, что я заразила маму, а для взрослого человека это совсем другое, чем для ребенка, и уже эти последствия спустя много-много лет, когда у меня уже самой была пятилетняя дочь, — маме пришлось делать даже операцию — у нее образовалась ужасная флегмона. То есть все это проявилось. Сразу ее перекосило. Она прожила жизнь, у нее была какая-то... Это не портило ее внешности, но, в общем, это было очень плохо для мамы. Слава богу, обошлось тогда, и еще она долгие годы прожила. Вот, но это была опасная, нехорошая вещь, перерождающаяся. В общем, бяка. Но, конечно, воспоминания об этом лагере у меня самые светлые. Например, мне казалось... Я сейчас тоже испытываю какую-то особую любовь и мечту, и у меня даже есть такой наряд. Там было так: было три группы. Всем дали тут же одежду детсадовскую, это были плюшевые длинные халаты, причем изумительных цветов. В одной группе, младшей, это были халаты изумрудного цвета, очень звучные. Да, причем с такими еще капюшонами, клубками такими. В старшей группе были малиновые, тоже ближе к кардинальскому. Красно-малиновый, звучный. А у нас были самые лучшие — шоколадного цвета. И действительно мы все выглядели как монахи разных орденов, вот абсолютно. Я помню эту картину... А мы все гуляли в разных местах, нам нельзя было соединяться, этим группам. И вот на какой-то полянке гуляют такие маленькие монахи. То, что монахи, я уже знала, потому что у нас была французская книжка дома, где был какой-то стишок смешной о монахах и картинки чудные. Где-то она у меня есть. Это старое, XIX века, издание. И что это монахи, я знала, и точно такие были мы. И, конечно, были изумительные у нас шоколадные эти халаты.

Мне подарила моя подруга — я ей как-то тоже поведала. Она подарила темно-красный халат. Но он очень тяжелый, а те были легкие, замечательные халаты. Я мечтала всю жизнь ходить в такой одежде. А так-то, все было в этом детском саду очень пасторально, и когда я через год оказалась в лагере, то я тоже его очень полюбила. Мне тоже там было хорошо, как ни странно.

Е. Г.: В пионерском.

О. В.: Да. В пионерском. Это был, правда, мамин, от маминого института, и это был очень домашний лагерь. Заведующей нашим лагерем, начальницей лагеря была такая Мария Борисовна Польшковская. Она тоже работала в мамином институте. Интеллигентная, милейшая дама. Кстати, она даже вам какая-то родственница — через Трубецких. Мне кажется, она Трубецкая была по... В общем, я забыла подробности, но ее дочь Вера Павловна Польшковская, она редактор была в журнале «Наше наследие», много лет работала. Сейчас она в «Хронографе». Ну, она замечательная дама... Да-да, они Трубецкие, потому что всегда Верочка... Я Веру при случае спрошу, кем вы ей приходитеесь.

Е. Г.: Ольга, не отвлекайтесь.

О. В.: Извините. Да *(смеется)*.

Е. Г.: Ближе к лагерю.

**О. В.:** Да, так вот, и это был очень хороший уровень, человеческий. Эта Мария Борисовна заведовала нашим лагерем. Нас было немного, нас там было, наверно, человек шестьдесят всего. Три отряда, и, когда меня привели... Как раз буквально на следующий день после встречи с колбасой и Индирой Ганди это произошло. И мы почему-то с опозданием небольшим пришли на место сбора к маминому институту МИТХТ на Усачевке, и уже грузовик... А везли детей в лагерь не в каких-нибудь там автобусах, а просто грузовик, и грузили туда, в грузовик, этих детей. Да, конечно, была замечательная подготовка, потому что в этот самый чемодан, с которым я ездил в детский сад и где уже было написано — папа написал масляной краской: «Оля Айзенман», — туда уже надо было погрузить совершенно другой набор вещей, которых был список. В частности, совершенно замечательная тоже одежда. Надо было купить шаровары длинные и шаровары короткие. Я не знала, что это такие средневековые одеяния, особенно короткие шаровары, но они мне очень... На резинках, с такими буфами. И какие-то там — белый верх, темный низ. В общем, всё — какая-то необыкновенная была куплена новая одежда. И в этот чемодан все это погрузили... И вот мы приехали туда, и надо мне карабкаться в этот грузовик. А я не могу. Я физически... Как-то у меня не получается. Надо залезть. Ну, меня там снизу подсаживает папа, а вот сверху как раз вдруг над этим кузовом восходит чудесное девчонкинское лицо в такой панаме — прямо как нимб, пионерский галстук, белая кофточка, очень приветливое лицо, очки — это как раз Вера Павловна Польшковская была, которой было десять лет уже. И она так приветливо-приветливо... Ну, она и должна была — она вообще хороший, интеллигентный человек, а кроме того, она чувствовала, что она дочь начальника лагеря. И она меня как-то очень приветливо туда втащила, и я сразу... Я не помню, чтобы мне дискомфортно было. Нет. Меня сразу же взяли под свое покровительство очень продвинутые большие девочки, очень дружелюбно: Лена Миронова, Оля Никонова. Еще была Ирка Зырина, которая была хулиганка. Она такая — изюминка в ней была. И я прожила это лето, все три месяца, и следующее лето под покровительством замечательных девочек, и мне, в общем, всё там было по душе, за исключением только вечерней линейки, когда очень много налетало комаров. Это было очень неприятно. А все остальное время было чудесно. Лагерь, надо сказать, тоже был удивительный. Мы там тоже жили очень свободно. Например, мы почему-то не тайно, а совершенно явно этой нашей компанией — нас было четыре девочки, я была младшая — уходили гулять. Мы гуляли по лесам. Не было никакого ощущения опасности. Хотя на самом деле там были немцы, и эти леса были заминированы вообще-то. К тому времени, я так думаю, там еще могло... Там были окопы, там были какие-то воронки. Мы почему-то там совершенно свободно гуляли. Возвращались вовремя, знали, хотя часов ни у кого не было. Но мои родители, они все-таки, конечно, тревожились — как, чего, и они на всякий случай, чтобы быть рядом, сняли тоже какой-то угол в близлежащей деревне Пласкино, и это, с одной стороны, наверно, было неплохо, с другой стороны, я чувствовала себя ущемленной, потому что если всем детям, и этому, и следующему раз в неделю... Приезжал грузовичок — тот самый, на котором нас туда привозили, институтский, — и дяденька, сотрудник института, стоя в этом кузове, доставал какие-то пакеты и коробки, выкликал имена. Это были передачи для детей. А у меня никаких передач не было, потому что папа каждый вечер подходил к забору и передавал мне пакетик с калорийной булочкой и помидором или яблоком еще. А эти же получали посылки. Посылки были в те времена... Здесь уже речь идет о 55-м годе. Значит, и дети там были разные. Там были дети преподавателей, а наши вожатые и старшие пионервожатые — это были студенты и аспиранты этого самого института. И тоже они относились очень хорошо, потому что кто-то у мамы учился немецкому, кто-то что-то... В общем, мы были все свои. И в то же время там были дети котельщиков, обслуживающего персонала, в общем, каких-то простых людей. И этим людям присылали, детям, такие посылки: например, присылали пакет, килограмм сахарного песка просто. Эти дети по ночам хрупали этим песком, а кроме того, вот чем мы занимались... Для чего им был этот нужен песок — я не знаю, отдавали ли себе в этом отчет родители, не знаю, не уверена, — было очень популярно следующее... А наш лагерь располагался в здании школы, которую на лето сдавали институту, и наши койки стояли в классах. А за забором было кладбище. Речка какая-то — названия не помню. И кладбище, причем кладбище очень выразительное. Это было кладбище на горе, то есть эти могилы громоздились одна над другой. Венки висели на ветках сосен, позванивали — они были жестяные. И в частности, там росла изумительная земляника. Ну всё, как полагается, там, по Цветаевой. Изумительная. «Вкуснее и слаще нет» кладбищенской земляники, как мы все знаем. И однажды мы все, подруги... У нас был, полагался какой-то инвентарь, в частности, детские ведерки с цветочками. У каждой из нас было по такому ведерку, на лето нам дали. И вот мы с этими ведерками пошли на кладбище и набрали эту самую землянику — необыкновенной крупности и вкусноты. Решили угостить родителей. С одной там Людой Златцной, которая не входила в нашу компанию, но почему-то мы с ней... съели всю эту землянику, не удержавшись, и у нас ночью начались чудовищные колики. Чудовищные, и у нее, и у меня. Видимо, обожрались просто. И вся эта наша огромная палата... Причем, никому не пришло в голову позвать медика как-то, нет. Все говорят: «Ну, это понятно. Это трупный яд». И все наблюдали, как мы помрем. Как это всё происходит. Мы стонали как-то... Ужасно было. И такой был эксперимент, наблюдали. Но потом как-то всё обошлось. К утру мы даже заснули, и все были очень удивлены, что трупный яд, а никакого эффекта. А эти дети, которые — счастливы — получали пакет сахарного песка, они делали следующее. Они набирали ягоды. Любые, это не важно. Могла быть земляника, малина, черника — всё, что угодно. На кладбище они находили зеленые бутылки водочные, которых там было в изобилии. В эти бутылки они, значит, напихивали ягоды, засыпали их песком, как-то там закупоривали, заматывали и зарывали в землю. И через неделю или десять дней — не помню, какие были сроки, — они эти бутылки выкапывали. К этому моменту это сочетание сахара с ягодами уже бродило, здорово перебразивало. И срывалась, срезалась какая-нибудь веточка, ошкурилась такая белянька, и вот эти дети ходили с этой бутылкой, засовывали эту веточку и ее облизывали. Вот так. Никто нам это не запрещал абсолютно. При том, что эта Мария Борисовна была очень заботливая. Она, например, всему лагерю стригла ногти. Сколько нас там было? Шестьдесят или семьдесят человек. Мы становились в очереди к Марии Борисовне, и она нам раз в неделю стригла ногти. Иногда эти ногти попадали ей в глаз (*смеется*). Это были ужасные истории. Но вообще было очень хорошо, у меня не было желания, что, там, заберите меня, нет. Нет.

**Е. Г.:** Идеологией вас не мучили? Пионерской?

**О. В.:** Идеологией — нет, нет. Нас не мучили. Единственное, что вот это было обязательно — пионерские линейки, подъем флага. Это было. Один раз даже я мечтала, что меня вызовут когда-нибудь поднять флаг. Но, естественно, когда меня вызвали, я поднять его не смогла. Я запуталась в этих всех колесиках. Нет, это что-то было, но скорее мне это нравилось. Потом, я, во-первых, не была пионеркой. Я мечтала стать когда-нибудь, со временем войти в эти ряды. И два года этого было очень хорошего, замечательного пионерского лагеря. А на третий год уже его не было, и нас уже подключили к какому-то большому пионерскому лагерю, включили. Это была совсем уже другая история. Вот там была идеология, и потом, там были какие-то уничижительные... Например, за какую-то провинность физкультурник заставил наш отряд эту довольно большую

территорию обойти на корточках. И я помню, что мне стало плохо, и это было ужасно. И там со мной все время тоже происходили какие-то... Мы ходили в какие-то походы... А, еще мы ходили даже не столько в походы — что мне не нравилось, мы ходили полоть поля. Это было очень принято. Что мы там пололи, я не помню, но мы пололи на солнце. И, естественно, когда я приходила на обед, уже нас приводили, то я обязательно в центре нашего этого обеденного зала падала в обморок и тоже попадала в изолятор. А потом там вообще случилась ужасная история. Там все заболели корью — весь лагерь. И причем в очень серьезной форме. И я помню только, как... Я, видимо, была в бессознательном состоянии большую часть, но иногда я приходила в себя, я открывала глаза, я видела... Это тоже было здание школы, только в другом месте уже. И много-много коек. На всех лежат какие-то дети в каком-то вообще... Живы они или нет... И при нас была только одна медсестра, девочка, как я сейчас понимаю, лет восемнадцати, прехорошенькая, которая с нами... Потом известили родителей. Приехали мама с папой на грузовике, погрузили меня в грузовик, отвезли в Москву. А это был год, когда в Москве была ужасная совершенно эпидемия туберкулезного менингита. И вот я помню, что родители безумно испугались. Но пришла наша как раз напротив соседка, тетя Нюся, к которой наша няня уходила. А у нее племянница... Она говорит: «Нет, нет». Я даже помню: «Успокойтесь, это корь». И я переболела этой корью дома, потом меня обратно отвезли. Нет, там тоже было неплохо. Там были какие-то маскарады. Самое интересное во всех лагерях — и в прежнем лагере, и в этом лагере — это был апофеоз как бы лагерного лета — военная игра. Это потом уже стало «зарница», да? А в те времена это было проще. Мы ловили шпиона. Время-то было вполне «шпионское», да? И вообще мы этим были воодушевлены, что шпионы, шпионы. Вот мы должны были, например... Было рассказано, что мы должны поймать шпиона. А шпион, он похитил наше лагерное знамя и где-то его спрятал. И мы, эти совершеннейшие какие-то идиоты-дети... Причем там были довольно большие уже дети. Если мне было семь лет, восемь и девять. Потом уже всё, больше меня родители в лагерь не посылали. И вот мы всерьез... Помню, в лесу мы, ходим по лесу, ищем приметы шпиона, следы. А какие-то там общественники, старшие пионервожатые и не старшие, они перед этим, например... Они тоже развлекались. Они вырезали какие-то стрелы на коре деревьев и указатели, где это знамя спрятано. Стрела из какого-нибудь огромного подберезовика. В общем, шпион странно себя вел — он указывал нам. Но мы всё совершенно всерьез. Сейчас дети совсем по-другому устроены. Они бы обсмеяли всю эту... И мы собираем вещдоки и тащим их в штаб так называемый. И вот этот сюжет, когда мы нашли использованный презерватив и несли его, и мы понимали, что это что-то ужасное, ужасное, но тем более обличающее этого шпиона. И принесли в штаб этот презерватив. Мы его несли на палке, потому что нам было как-то... Мы не знали, что это, но в руки брать как-то не хотелось. И принесли в штаб к этим взрослым людям, на палке этот презерватив. Они умирали со смеху, а мы были несколько оскорблены. Нам казалось, что это очень... Какие-то куски газеты. Да, причем, это было не просто так. Нам нашивали погоны — синие, желтые, белые, была какая-то градация. Это были как бы два противоположных лагеря, и надо было эти погоны срывать. Кто-то считался раненым, кто-то убитым, выходил из игры, и уже ты не имел права искать этого шпиона. В общем, мать была редкостная. То есть детям, конечно, загружали мозги такой фигней! Но им и потом уже, когда никаких лагерей... Я очень хорошо помню, как мы тоже с моей подружкой уже мы сами гуляем, уже большие, на Иностранном скверике, и мы видим, что из дома напротив, где парикмахерская, и там, где, собственно была в свое время мастерская Татлина... Вообще этот дом много чем славен. Потом уже во время перестройки, много лет там была мастерская под зловещим названием «Авель». И выходит человек. Видимо, действительно это был реально какой-то иностранец. И у нас сомнений нет: шпион. И мы за ним. Мы его выслеживаем. Мы думаем: «Как вот милиция...» Но в то же время стесняемся заявить милиционеру, но понимаем, что мы должны. То есть головы... В общем, нормальные дети из нормальных семей, где об этом речь вообще не шла. Не диссидентские, разумеется, но нормальные, адекватные семьи. То есть, конечно, засрать, извините за выражение, голову ребенку, да и не ребенку, чем угодно — это на раз. Это ужасно. Но, тем не менее, самые чудесные воспоминания у меня сохранились, какие-то романтические.

Да, причем даже в этом последнем лагере, где была корь, нас однажды подняли по тревоге ночью, детей, и мы должны были ползком через кусты куда-то пробираться. Представляет? Вообще я удивляюсь, как не случилось ничего. Ужасно. Вот это странно на самом деле. Там могло случиться всё, что угодно. Из любого жанра, так сказать. Так мы в этих детских заведениях развлекались.

Но у меня остались очень хорошие впечатления. Во-первых, замечательные люди мне там встречались, интересные для меня люди. Я там тоже, кстати, имела большой успех, потому что я была с детства рассказчицей, и, допустим, мой любимый был рассказ — я в прошлый раз вам поведала — как нашу соседку Алю чуть не убил жених. Это пользовалось бешеным успехом. Разные у меня были истории. Я же уже книжки читала. Я уже, там, помнится, «Графа Монте-Кристо» могла пересказать более-менее. Да, это вот как, знаете, на зоне. На зоне ценятся люди, которые могут чего-то такое... В лагере детском та же была история, поэтому, в общем, меня никто там не обижал. Ко мне по-доброму относились. Нет, какие-то, может быть, были, но они растворились в положительных каких-то сюжетах. И славные, славные у нас были эти, — кроме отвратительного физрука, который нас заставил, плохо очень поступил с нами. А все остальные, в общем — никаких у меня претензий не было. Когда многие мои знакомые: «Лагерь, ну это ужас...» Нет, мне было в самый раз (*смеется*).

## Коллективная ответственность, дети подземелья и ёлка в Кремле

Е. Г.: А школа?

О. В.: А со школой... Конечно, школа у меня была — противная школа. Может быть, я, конечно, слишком строга, но от школы у меня остались тяжелые воспоминания. В начальной школе наша учительница — это была мама поэта Эдуарда Асадова. Такой был поэт, который в те времена пользовался бешеным успехом. Это, конечно, была фигура необычная. Это был слепой поэт. Мальчиком он был призван на фронт восемнадцатилетним. Я читала его биографию, но я точно абсолютно помню рассказ Лидии Ивановны, что до фронта он не добрался. Разбомбили эшелон. Сейчас почему-то о нем рассказывают, что он горел в танке. Он не горел в танке. Как раз Лидия Ивановна, она говорила чистую правду, что он просто... Но его биография официальная — он горел в танке. Ну ладно. Как бы то ни было, он был слепой поэт, писал стихи для женщин. Тут кто-то недавно в фейсбуке, какой-то человек, какая-то женщина, естественно, его опубликовала стихотворение. Его любимое имя было Галина, про Галину он всё писал. Это очень плохая поэзия, но для определенного женского круга и уровня — супер. Душещипательно, просто «как про меня», каждая читает и думает: «Это про меня». Эдуард Асадов. Лидия Ивановна была очень строгая. Потом, во времена уже обозримые, когда еще был жив этот Эдуард Асадов, я слушала какую-то

его передачу по радио, с ним интервью, и он рассказывал о своих родителях, что они устанавливали советскую власть на Северном Кавказе. Ну, из этого можно сделать какие-то выводы. И приблизительно так же она с нами общалась. Притом что, на самом деле я, конечно, свинья: я должна была быть ей благодарна, потому что если я что-то из школьного курса вынесла, то только то, чему научила меня Лидия Ивановна. Она, во-первых, научила меня прекрасному почерку, таблице умножения, то есть все, что мне пригодилось реально в жизни, — это все от нее. Потому что потом все это было не в коня корм. Но она была такая суровая, суровая дама и с повадками такими чекистскими. Она с нами общалась так: класс у нас был сорок пять человек, сорок пять — сорок семь. Ну, это нормально по тем временам. Жила я в центре. Пошла в школу в те времена, когда все подвалы были густо заселены, и в нашем классе интеллигентных детей было человек, может быть, пять, так условно говоря, из интеллигентных семей, а остальное — это была просто... Причем, это безотцовщина. Это уже не дети войны, но это такое население подвалов. Я говорю, абсолютно «дети подземелья», это Владимир Галактионович Короленко. Бледные изможденные дети, голодные. Мама моя была в родительском комитете классном, и у нее было поручение — она должна была посещать эти подвалы, к примеру, и выяснять, кому в этой четверти или в этом полугодии, кто в самом плохом состоянии, кому выделить пару башмаков, которые выделяет государство. И мама моя... Мы жили в коммуналке, в маленькой, небольшой комнате. Там тоже у нас были свои... Среди кошмарных гегемонов. Но мама приходила просто убитая из этих своих рейдов — что она видела. «Мы живем просто как короли». Это действительно было ужасно. Я тоже в таких подвалах бывала, это неопишимо. Потом, кстати, все это быстро довольно изменилось, потому что к Фестивалю молодежи и студентов 57-го года были уже выстроены эти хрущевки. То есть все эти люди получили отдельные квартиры и покинули наш класс. Ну, там другие не лучше появились. Вот такие дети, плохо кормленные, плохо одетые, какие-то ну вообще...

Как с нами общалась Лидия Ивановна? Она нас любила наказывать. С тех пор вот закон коллективной ответственности вызывает у меня особенное содрогание. Допустим, какой-нибудь мальчик Гуськов... Причем, эти дети-то, они, собственно говоря, уже к пятому классу все были в колониях, эти мальчики — практически все. Вот он что-нибудь такое там скулит — и мы все за это отвечаем. Допустим, мы спускаемся с нашего четвертого этажа уже в раздевалку, чтобы идти домой, и вот по дороге, допустим, Гуськов или какой-нибудь Трубачёв, они дерутся. Или кто-то кого-то толкнул, кто-то упал. Всё. Все идем обратно и еще сорок пять минут стоим за партами. Вот так с нами общались.

И, конечно, особенно я испытываю ужасный, надолго, на много лет меня охвативший стресс, когда пришла я однажды в школу, а Лидия Ивановна с таким лицом (а я отличница, естественно, была и хорошая девочка), — она говорит: «Сейчас мы будем обсуждать поведение Оли Айзенман. Она обидела людей. Она говорит о людях — «троечники». И она высокомерно относится к людям, и мы сейчас будем обсуждать ее поведение». А я действительно про кого-то сказала — я дружу с троечницей. «С кем ты дружишь?» «С троечницей». Ничего плохого не имея в виду. Потому что мы назывались так: «отличники», «хорошисты», «троечники» и «двоечники». По фамилиям, имен не было. Причем, надо сказать, это осталось практически на всю школу. Почему-то так было. К нам обращались по фамилии. Нам не говорили «Оля». Даже она не говорила «Оля Айзенман». «Поведение Айзенман». «Айзенман», «Иняева», «Тодрина». Только так к нам обращались. И меня поставили около доски, и вот... Причем, это был буквально первый класс или второй уже. Второй. И вот люди стали вставать. Нет, точно, это был первый класс, я еще даже не со всеми познакомилась. Как-то не вошла в контакт. И какие-то люди, какие-то дети... Такая была там маленькая девочка. Фамилия — то ли Синичкина, какая-то птичья была у нее фамилия. Которая — даже ни разу мы с ней слова не сказали. И вот она встает и начинает рассказывать про меня какие-то небывлицы. Что вот она мне сказала... Кто-то еще встает... Такое вот совершенно — ложь чистой воды. Причем никто из моих приятельниц, даже тех, кого я назвала троечницами, этого ничего не произносит. А произносят какие-то обличительные речи, и я пришла в такой ужас! Мне было так стыдно. Мне казалось, что большего позора быть не может, чем такое публичное разбирательство. И надо сказать, я была этим... Я много лет не могла об этом забыть. Собственно, никаких последствий не было. Но я жила с ощущением позора. И я была страшно удивлена, когда где-то в третьем классе, — а это уже прошло три года. Все время у меня это в голове было. И началось обсуждение кандидатуры — кому выделить билет на посещение елки в Кремле в Грановитой палате.

Е. Г.: Ну, об этом тоже рассказать...

О. В.: Да-да-да. Я вот расскажу. И вот выделили на класс три билета. И эта Лидия Ивановна придумала, что не она назначит, а дети выберут. И первым номером выбрали сразу же единогласно Галю Иняеву. Это была моя подруга, действительно отличница, действительно замечательная девочка, прекрасная просто. Второй выбрали Лютю Хляп. Тоже она была отличница. Кстати, сейчас какой-то крупный биолог, профессор, очень серьезный ученый. А третьей... Вышел, встал Валера Петров, который уже на следующий год оказался в лагере, в колонии для несовершеннолетних, и предложил меня. Я была потрясена. Во-первых, я была уверена, что я живу с клеймом, что никто никогда вообще уже всерьез ко мне, с уважением не отнесется, потому что такое со мной случилось — позор. И уж никак от Петрова я это не ожидала. Петров был огромный амбал. И все единогласно проголосовали. Это было поразительно. Это как-то смягчило мою травму детскую. Мы пошли на эту елку, и тогда, действительно, я реально единственный раз в жизни посетила Грановитую палату и видела, как она расписана, и любовалась. И была настоящая Кремлевская елка — со всеми этими приходящими.

Е. Г.: Это что такое?

О. В.: Это огромное, действительно изумительно красивое дерево. Там, естественно, портрет Сталина. Это было еще... Нет, а может быть, уже Сталина не было, но, в общем, какие-то портреты вождей. И необыкновенные профессиональные развлечения, профессиональный Дед Мороз и профессиональная Снегурочка. И огромная толпа детей, пляски и прочее. Но больше всего я была удивлена, когда я увидела, что мы, избранные, — это была очень гордость большая, что нас избрали, и мы пришли в Кремль, — и вдруг я вижу, что там какие-то дети, условно говоря, наши подвальные дети. Были дети каких-то сотрудников. Может быть, там кто-то каким-то образом... Я была несколько удивлена и так чуть-чуть девальвировала ситуацию, но особенно я на этом не сосредотачивалась. Конечно, если было ощущение этой избранности, оно имело значение. Вообще, ужасно. Это, конечно, было в детях как-то развито. Но красота была необыкновенная, и дали нам подарки такие кремлевские, как полагается. Совершенно было волшебю. И, когда мы пришли в школу уже после каникул, Лидия Ивановна дала нам тему «Как я провел зимние каникулы». И я написала сочинение «Елка в Кремле». И красноречие, видимо, в этой возрастной группе у меня было, может быть, чрезмерное. А заключено было все это, что на верхушке ели, высокой



ели сияла и переливалась какая-то рубиновая звезда.

И Лидия Ивановна была так потрясена этим текстом моим (и что-то было до этого, но, видимо, тоже в этом роде), что она единственный раз за все время существования нашего класса, поставила пять с плюсом. И я всё ей простила. Я чувствовала себя на седьмом небе абсолютно. Это была такая оценка моих каких-то свойств. И эти чувства, я помню их, я их помню. Хотя потом уже было время это всё переоценить. Но эти эмоции, они... А потом Лидия Ивановна вынуждена была уйти раньше времени на пенсию, потому что ее сына Эдуарда Асадова оставила жена Галина, а они были с этой Галиной знакомы, влюблены еще со школы, и вот эта Галина, она так героически вышла замуж за человека слепого, раненого и так далее. У них родился сын Аркаша. И вот эта Галина ушла. А мы были в курсе малейших подробностей. Лидия Ивановна, бедняга... Вообще, оттого она еще была такая суровая. У нее была язва и она... Я сейчас уже, будучи взрослой теткой, поняла, что у нее всегда был на столе стакан соды разведенной. То есть, она все время, видимо, страдала от этой язвы. И как тут будешь с детьми ласкова? Видимо, еще тоже у нее были причины для плохого настроения. Она нам подробно рассказывала про все ситуации в семье сына. Про его нелады с женой, проблемы с ребенком, и мы были в курсе. В общем, в конце концов, эта Галина ушла, и Лидии Ивановне пришлось уйти с работы раньше времени и уже заботиться о сыне. И потом уже, спустя долгие годы... Много лет я ее встречала. Она жила — замечательный есть дом, Кекушев его построил. Вы его знаете. Это напротив Академии художеств. Великолепный, блистательный дом Кекушева. Он принадлежал Исакову, домовладельцу. Блистательный дом. Сейчас его уже как-то облизали, сделали из него что-то супер, а тогда это были огромные, гигантские коммуналки. Мы у нее бывали там, для каких-то целей чего-то мы должны были ей приносить туда, не помню. И она там и жила, собственно, до конца своих дней. Я ее встречала и старалась как-то от нее... А она только хорошее про меня помнила. Ну, в общем, неадекватность реакции ребенка на то, что происходит.

А потом тоже у нас было все довольно с учителями... Во-первых, учителя были крайне неинтересные. Самая отрава нашей жизни — это была учительница физкультуры. Сначала так. Когда мы учились во втором классе, является — она, кстати, была воспитанницей Лидии Ивановны нашей, Асадовой, — молодая девушка. Очень привлекательного вида. С прекрасной косой, как змея, как удав такой на голове. В очень хорошем по тем временам, как я понимаю, аккуратном тренировочном костюме, не каком-то гнусном. И нам объясняют, что это Майя Феликсовна Попутникова, она будет у нас вести физкультуру. Майя Феликсовна оказалась сущее исчадие. С этой физкультурой — это был ужас и кошмар. Да, кстати, сейчас расскажу вам смешную историю...

**О. В.:** И эта Майя Феликсовна Попутникова, она была очень сурова. Она какая-то была особенная дама, конечно. Она была красивая, молодая женщина спортивная, и она меня, например, невзлюбила сразу. Ну, видимо, не одну меня, но меня в том числе. А я, правда, была бестолковая и неспортивная. Я всегда путала право-лево, я как-то терялась, когда надо было «направо! налево!» Она любила наших будущих уголовников. Как-то они ей были ближе по-человечески. Хотя она, в общем, была вполне цивилизованная дама. И однажды что-то со мной случилось ужасное. Типа я забыла тапочки какие-то... Не тапочки, чешки какие-то, в чем я должна была заниматься, и это было ужасно. Меня ждала какая-то страшная казнь. И я сказала, что я плохо себя чувствую. Соврала. Она сказала: «Ах так! Ну вот иди в медпункт и принеси мне справку о том, что ты...» И я — ну я понимаю, что чувствую я себя на самом деле хорошо. Иду я в этот медпункт. Совершенно ужасно. Прямо... Я не поднималась на Голгофу, но я с нее спускалась. Прихожу, стучу в эту дверь. Мне восемь лет. Открывает мне дверь женщина, медсестра наша, такая красивая женщина, гладкие волосы, белый халат. «Что с тобой?» А я вся в слезах. Я говорю: «Меня прислала Майя Феликсовна». «Ах, Майя Феликсовна тебя прислала?» Оказывается, она ненавидела Майю Феликсовну. И она тут же дала мне справку, что Айзенман Ольга больна, отпустить домой. Не глядя вообще. У меня было ощущение ангела — вот ангел, сошел ко мне ангел.

Маленькое отступление. Проходит двадцать лет, и известный вам Саша Антонов и его жена Ира Антонова приглашают меня свидетелем на свою свадьбу. И, когда я прихожу к ним, звоню в дверь — мне открывает дверь та же женщина. Мама Саши Антонова (*смеется*) Марина Андреевна. Да. Вот такие бывают совпадения.

Так вот, возвращаюсь к Майе Феликсовне Попутниковой. А она как бы росла профессионально. Она к нам пришла, когда она закончила физкультурный техникум. У нее уже родилась маленькая дочка. А параллельно она училась на вечернем. И, когда мы дожили до пятого класса и радовались, что у нас больше не будет (ее все ненавидели) преподавать физкультуру Майя Феликсовна, она пришла к нам в качестве учительницы ботаники. Потом она нам преподавала биологию, а потом химию уже — до конца наших школьных дней. И это был ужас, это был кошмар. Она была просто какой-то враг рода человеческого. Причем у нее были какие-то любимцы. Но для большинства людей... И меня она как-то выделяла еще особенным образом. Потом, правда, в самом уже одиннадцатом классе все переменялось, потому что оказалось, что я рисую неплохо, а я стала рисовать для нее химические газеты, которые получали какие-то призы на конкурсах. И вот тут она ко мне резко переменялась, но то, что она лет десять, ну девять точно из одиннадцати отравила... Она была какая-то кошмарная просто. И, собственно говоря, как это ни печально... У нас были не вредные учителя, но какие-то невыразительные.

Но за все одиннадцать лет обучения один — в одиннадцатом классе — был педагог, Александр Александрович Пластинин. Вот сейчас я даже стала что-то про него искать в фейсбуке. Это, оказывается, был любимый учитель Петрушевской. И вот его к нам прислали, потому что в десятом классе оказалось, что мы настолько плохо написали сочинение, что просто... И нам на следующий год... А он преподавал в Инязе, мне кажется. Или, может быть, еще где-то, вот его к нам прислали. И это был год счастья. То есть я вдруг поняла, что, оказывается, можно было учиться в школе с удовольствием, и даже стремиться. И мы, собственно говоря, весь год проходили, что называется, «Евгения Онегина». Но это было так интересно! Я поняла — ах вот оно как, оказывается, бывает, а я даже и не подозревала. Потому что это была тоска зеленая — такая школа, просто убогая, 50-я школа. И надо сказать, что у меня даже друзей школьных не осталось. Меня спасло то, что, начиная с пятого класса, я уже училась в художественной школе параллельно. И там уже были все те люди, с которыми я и сейчас вместе существую.

## Уроки домоводства и принцесса Монако

Е. Г.: А уроки домоводства? Вы хотели...

**О. В.:** Да. Уроки домоводства — это было нечто утешительное. Это была такая Вера Ивановна Рогова, дама явно из «бывших», и, кроме того, и муж ее был какой-то профессор. Жила она на Пречистенке. Тоже в таком большом доме на углу Померанцева переулка и Пречистенки. И она, видимо, очень нам сочувствовала. Она как-то хотела нас цивилизовать. И помимо того, что она учила нас шить... Меня, к сожалению, очень плохо научила шить, потому что меня она тоже очень быстро стала использовать и засчитывать мне в качестве шитого мои рисунки. Я ей рисовала какие-то журналы мод, чего-то такое, вместо того чтобы шить и всякие швы изучать. Бейки какие-нибудь. И Вера Ивановна пыталась нас приобщить к какой-то нормальной женской жизни. Она в качестве примера такого женского, нас познакомила с принцессой Монако. У нее был журнал, где девочка нашего возраста... Во-первых, она была очень мило одета. Про нее были какие-то истории. Что это за журнал, откуда она его взяла? Я даже не помню, на каком языке он был. Но, во всяком случае, Вера Ивановна, она нам рассказывала про эту девочку, принцессу Монако, и мы даже старались ей подражать. В частности, у этой девочки была такая шляпка из французской соломки... Из итальянской соломки, пардон. И Вера Ивановна сказала, что, в принципе, можно такие шляпки сделать и достаточно для этого купить разноцветную вот эту бумагу... Вот эту, знаете, как она называется, мягкую такую... Позабыла. Вылетело слово. Ну вы знаете. Продаются такими рулонами. Мягкая-мягкая бумага. Ее надо было, эту бумагу, нарезать полосками, скручивать так, как бы сплетать косичками и на кастрюлю так накручивать. Получалась шляпка, с тульей, с полями. И, чтобы она была крепкая, сверху мы еще ее покрывали канцелярским клеем. И мы все сделали такие шляпки, и нам казалось, что они точно как у принцессы Монако из итальянской соломки. Но это было правильно, это было какое-то рукоделие. У некоторых очень хорошо получилось, кто не поленился потоньше порезать и сплести. Да, потом мы стали шить себе купальники. Мы были девочки все еще безгрудые, но Вера Ивановна нам объяснила, что все-таки вы посмотрите, как у принцессы Монако — у нее вот здесь тоже полосочка. Мы сшили себе такие вот купальные костюмы с якобы почти бюстгалтерами. Такие вот бикини. Она стала нас учить, пыталась нас учить какие-то [вещи] делать простые, какую-то еду. Торт из печенья мы лепили, записывали, как заваривать чай, что-то еще. То есть это было все очень по-человечески. Но я тогда чуть было... Но, слава богу, удержалась.

Вы, наверно, почитали мой текст про то, как Наталия Ильина, писательница, Наталия Иосифовна Ильина, подруга моей тетушки, блистательная дама, надо сказать, блистательная... Она в те времена работала в журнале «Крокодил» и где-то еще, и она писала фельетоны. И, когда я тоже очень выразительно и красочно рассказала в кругу семьи... А она дружила с моей теткой и даже у нас жила, была у нас... У нее были сложные моменты. Она еще не вышла к тому времени замуж за Александра Александровича Реформатского, и она была бездомная. Они вернулись из эмиграции с мамой, сюда прибыли из эмиграции. Они были в Харбине, жили в Шанхае. И сестра ее уехала во Францию, а она оказалась здесь. И это были самые, конечно, «подходящие», что называется, для этого годы — конец 1940-х, но она как-то... Жизнь ее сложилась потом очень неплохо, но тот был период, когда она... [Ее] мама вообще жила в подвале у каких-то людей, а она где-то там перебивалась, и у нас. Я ее воспринимала как... Я рассказала про эту принцессу Монако, и это ее так развеселило, что она решила написать об этом фельетон и для этого пообщаться с Верой Ивановной Роговой. И она отличалась от всех людей, кроме всего прочего, кроме своего западного облика, прекрасных каких-то одежд и так далее, она отличалась еще тем, что у нее была машина «Волга». И вот она меня посадила в эту машину «Волга», и я должна была ей рассказать все эти вот истории про Веру Ивановну. Она должна была их описать. А историй было очень много. Они были такие смешные на самом деле. Эта Вера Ивановна была милейшая, но все, что она нам вкручивала, — это было, конечно, особенно с точки зрения нашей семьи, в которой высмеивали всякое мещанство, пошлость и так вообще к этому относились, это было, конечно, потешно. И тут, слава богу... Это тот самый случай редкий, когда вовремя останавливаешься. Я поняла, что если я сейчас все это буду Наташе рассказывать, это ужасная будет подлость. И мне хватило моих мозгов десятилетних, и я стала что-то рассказывать неинтересное-неинтересное, совершенно. Наташа говорит: «Оля, ну ты помнишь...» Я: «Нет». И она так меня повозила, повозила минут сорок по Москве, и это, к счастью, не состоялось. Я была просто счастлива, что я удержалась. Потому что, конечно, рассказать я могла, это все было свежо, это мне было абсолютно понятно, какая это чушь и какая это фигня, но при этом я понимала, что ведь она же на самом-то деле очень хорошая и хочет нам хорошего. Вот это тот редкий случай, когда удается заткнуться вовремя.

Но эти занятия наши... На самом деле, какие-то девочки другие, не такие идиотки, как я в этом смысле, они почерпнули даже очень много. По поводу, например, шитья. Я тоже сшила все эти полагающиеся платья, фартуки, но я как-то это не полюбила. То есть я, конечно, могу, сильно напрягшись, что-нибудь изобразить. Когда дочка была маленькая, я чего-то такое... Но не получилось из меня человека в этом смысле.

Но слава богу, потому что до этого, когда у нас начались в каком-то классе уроки с Верой Ивановной... Они начались довольно поздно — в пятом классе. А до этого у нас были другие уроки труда. Вместе с мальчиками мы работали слесарями. Мы должны были какие-то лопаты делать железные, какие-то крючки. Каждый раз, для того чтобы нас вдохновить, нам говорили, что всё для детских домов. Но я помню, у меня были эти предметы. Мы какими-то напильниками железки в каких-то станках, в тисках зажимали, чего-то гнули... Вообще, это было тоже очень странно. Мальчики, может быть, даже неплохо, но у нас тоже, девочек. И у меня была эта лопатка, этот крючок. Почему-то мои изделия в детский дом не взяли, видимо, они были не очень подходящие. Нас так мотивировали, что для каких-то бедных детей крючки точили из болванок. Из жести гнули, из листов каких-то, гнули детские лопатки, которые надо было еще потом насаживать на деревянную ручку, и это тоже мы должны были делать. Это тогда были такие уроки труда.

## Наталия Ильина, детские встречи с Ахматовой и ее похороны

Е. Г.: А с Ахматовой вы в этой «Волге» катались?

**О. В.:** Да, в этой «Волге». Эта Наташа Ильина, она потом написала об Ахматовой. Она действительно была такой экзотический человек в той нашей реальности. Ее ребенком маленьким совсем, чуть ли не младенцем, увезли через Дальний Восток. Они оказались в Харбине — мама, папа и две девочки. Вот, она там, собственно, выросла. Об этом очень много существует воспоминаний — об этом времени, и ее имя упоминается. Книга Рачинской. Вот она о ней-то как раз пишет. Вообще, об этом

люди писали, особенно сейчас можно много найти. Эта Наташа была, конечно, очень яркая личность, весь ее стиль, она такая была «тетя лошадь», но очень эффектная. И, естественно, с совершенно иным уже набором знаний о жизни, о жизни за границей. Она была журналистка. Собственно, она прибыла сюда, уже будучи журналисткой. А училась она вместе, и приехала сюда вместе с Эдди Рознером, они были друзья детства. То есть она из этой среды, из этой компании. Это какое-то аристократическое весьма семейство — и мама, и папа. У них какие-то корни серьезные. И вот она, очевидно... После войны многие ведь, вы знаете эти трагические сюжеты, когда люди вернулись — по-разному. Какие-нибудь Кривошеины попали по лагерям, по жутким ссылкам. Она, кстати, тоже, ее для начала отправили куда-то в Казань. Но потом она все же приехала в Москву. Как, почему — мы не знаем, потому что тут много всяких легенд. Она оказалась все-таки в Москве, в Литературном институте и там же познакомилась с Александром Александровичем Реформатским, который, как пишет Катя Поспелова, внучка, в какой-то момент от ее замечательной бабушки газанул к писательнице Наталии Ильиной, и они уже поселились на Аэропорте, в писательских домах. И был период, когда она...



А. А. Ахматова, А. А. Реформатский, Н. И. Ильина

Они с тетушкой моей познакомились в этом самом «Крокодиле», где она тоже работала, и очень подружились, и она писала свою первую книгу под названием «Возвращение». Книга у нее шла очень туго. Тетушка моя была чрезвычайно одаренный и литературно и по-всякому человек, и — я это просто помню — это писалось в соседней комнате за дверью, из-за которой я слышала каждое слово. И они вместе с теткой работали над этой книгой. Книга вышла, имела успех. Да, а ее не знаю, кто познакомил с Ахматовой, Наташу Ильину. Кто-то из филологов, наверно. И она при Ахматовой была из тех людей, которые... Вообще к ней народ относился с большим подозрением, называли ее «штабс-капитан Рыбников» между собой. Но Анна Андреевна — она была настроена в отношении этих людей очень мудро. Ее же всегда окружали люди, которые были осведомители, безусловно, и та же Островская довоенная, и всё... Это отдельный сюжет. И она считала, она была уверена в том, что эти люди, кроме всего прочего, ее любят, и она говорила: «Каждый должен знать своего осведомителя». А насчет Наташи я не могу ничего сказать. Наташа была при ней шофером. Машин было мало. Не просто шофер, а шофер чрезвычайно интересный в беседе, образованный, знающий... Ну, ей было интересно.

Мы ничего, естественно, про это в те времена не знали. Потом по совершенно другому поводу жизнь тетушку мою с Наташей развела. Это уже было личного плана, это отдельный сюжет, и даже не имеет смысла все это рассказывать. И они перестали общаться. Она уже к тому времени, Наташа, очень хорошо... Ее обстоятельства наладились. Другие времена.

А потом случилась эта история. История такая. То есть я далеко не первая о ней написала я бы не рискнула написать первая. Это у Наймана описано. Наташа эта — у нее была такая фирменная, одна из составляющих ее имиджа... Она была крупная, очень эффектная такая. Не красавица, но в ней было что-то более важное. У нее была огромная пудреница, не российская, тяжелая такая, большая. И вот она доставала очень часто эту пудреницу, ее раскрывала таким жестом, зеркальце. И там была пуховка, и она так пудрилась. И такое, такое, знает, облачко. И это ее был фирменный жест. И вот такая случилась история. Однажды мужа Фриды Вигдоровой Раскина вызывают в соответствующее заведение, и выясняется, что там имеется полный отчет того, что говорилось в их доме в какой-то определенный [день]. Он понимает, когда это все произошло — при собрании определенных людей, их друзей. А они с Наташей Ильиной жили на одной лестничной площадке. Вон там на Аэропорте, в этом писательском доме. И Раскин, остроумнейший человек, умный, люди благородные, он, видимо, соображает, вычисляет, кто. Подробности не знаю. И в какой-то момент снова, — а они постоянно как-то встречались, собирались, — собирается тот же состав людей. Начинается опять какой-то, может быть, даже инспирированный Раскиным

разговор, и в этот момент Наташа достает эту пудреницу, начинает пудриться. А это всегда было так публично. Так необычно тоже — не то что где-то в сортире, в туалет пойти, а вот...



И в этот момент Раскин как бы случайно выбивает, вроде задев, и падает эта пудреница. Там сидит маленький магнитофончик.

Е. Г.: Ничего себе.

О. В.: Эта история — она довольно известная, и в какой-то момент Владимир Петрович Енишерлов захотел напечатать какие-то мои тексты у себя. Говорит: «Оль, принесите, что там у вас есть». Я тащу этот рассказ, где у меня и учительница физкультуры, и Ахматова в одном флаконе, и Наташа Ильина. Я там фамилию, правда, не называю, конечно. И он читает — и возмущен ужасно. И говорит: «Оля, этого быть не могло!» Ее фамилии я там не упоминаю, но он догадывается, о ком речь, потому что я ее там точно очень описала. Ее все сразу узнают. Он говорит: «Этого быть не могло! Мы дружили, мы с женой с ней дружили долгие годы. Это не тот случай. Этого быть не может!» Я говорю: «Ну, Владимир Петрович, я с вами не буду на эту тему спорить. Это та история, которую мне под большим секретом рассказала тетушка, и я о ней молчала долгие годы, пока я не прочла ее описание — с некоторыми вариантами — у Наймана в книжке изданной, которую мы же и оформляли. И, когда я это прочла, я поняла, что я хочу изложить в том виде, как мне рассказывала тетушка, которая к тому времени уже с Наташей не дружила, но она это знала из первоисточника. Чуть ли не от той же Ахматовой буквально. Я говорю: «И я не называю фамилии». «Такой истории быть не может. Нет. Этого быть не могло. Она дружила вообще с самыми лучшими людьми». Я говорю: «Я знаю, да. Она дружила. Она написала еще несколько книг, воспоминаний обо всяком». Но проехали. Он поместил какие-то другие мои тексты. Потом проходит пара месяцев. Он говорит: «Оль, вы знаете, я должен сказать. Я рассказал, спросил Вячеслава Всеволодовича Иванова, могло ли это быть. Он сказал: «Владимир Петрович! Об этом знает вся Москва!» *(Смеется.)* Я говорю: «Ну... Что тут скажешь? Это было. Что тут сделаешь?»

Нет, просто как раз с Наташей у меня тоже связано такое яркое воспоминание — еще когда они были очень дружны. Я училась в классе, наверное, в пятом. В пятом, да, как раз когда и Монако, и прочее. И вдруг совершеннейшее происходит чудо. Впервые после их разлуки приезжает в Москву Ольга, младшая сестра Наташи Ильиной. Наташа еще никуда не ездила, ни в какие Парижи, ничего. Потом-то уж она там много времени находилась. Приезжает Ольга с двумя девочками. Старшая Катя и младшая Вероника. Старшей было лет, наверно, пятнадцать, а младшей — лет восемь. А мне, соответственно, лет одиннадцать... Нет, лет двенадцать. Уже, наверно, шестой класс. Лет двенадцать. И тетушка мне говорит: «Вот приезжают девочки, и Наташа хочет, чтоб ты с ними познакомилась, пообщалась». И вот мы уже садимся в ту же самую машину, в которой Наташа и Ахматову возила, в эту «Волгу» с оленем.

Е. Г.: Так, расскажите.

О. В.: Да-да-да. С Ахматовой — да. Нет, но дело в том, что кто-то меня тут спросил: «Расскажи о своем знакомстве с Ахматовой». Я говорю: «Ну не смешите меня».

Е. Г.: О впечатлении.

О. В.: Впечатление, да. Действительно меня несколько раз брали в эти автомобильные прогулки. Ездили в Архангельское и в Коломенское. И впереди сидела Ахматова, а мы с тетушкой сидели сзади. Наташа все время острела. Она была блистательно остроумная женщина. А мне всегда это очень импонировало. Я обожала вот эти острые... И я помню, что я все слушала Наташу. На Ахматову... Нет, хотя, на самом деле, я уже знала несколько ахматовских стихотворений. Мне была подарена вот эта «лягушка» — книжка зеленая вот, которая вышла впервые после долгих-долгих лет молчания. Ну, не молчания, а непубликования. И уже я всяких «сероглазых королей», весь этот набор у меня уже в голове сидел, конечно. Но как-то... И вот, собственно, Ахматову... Кто-то говорит: «Как ты...» Ну, Ахматову я видела, я говорю, такой полуборот. Вот она с Наташей разговаривает, а я сижу сзади. Представьте, да? Человек сидит на заднем сиденье, она сидит на переднем. И я так ее вижу — щеку, лоб, волосы ее седые, величественный этот профиль. И потом, когда мы уже куда-то приезжали... Она уже с трудом ходила, Ахматова. И все-таки как-то там прогуливались. Я где-то там плелась сзади. И у меня никаких таких настоящих впечатлений нет. И вот единственное, это было несколько раз. Да, и она даже как-то мне подарила фотографию, то есть прислала мне через тетушку. Тетушка с ней действительно была очень и дружна, и близка, и когда вышел «Бег времени»... Ахматова успела этот тираж увидеть, и она заказала сто экземпляров для подарков и составила список, кому она хочет подарить. И у тетушки моей там такое почетное было шестнадцатое место из этих ста человек. То есть там первый номер была, естественно, Нина Ольшевская. В общем, весь набор ее друзей. И шестнадцатое такое. Собственно, после чего, уже после смерти Анны Андреевны пришел к тетушке Роман Тименчик, основной специалист по Серебряному веку и Ахматовой в частности, а он стал обходить людей по списку этому. Этот список, он хранится где-то в Пушкинском доме. Я как раз Рому спрашиваю, говорю: «Ром, а где список?» «Он в Пушкинском доме». Потому что я хотела... Думаю, может, у него, там... Сфотографировать *(смеется)*. И подружиться. Тетка Осень подружилась с Ромой, с его женой Сусанной Чернобровой, художницей. И мы подружались, я подружилась с Сусанной. С Ромой, конечно, просто знакомы. И от этого пошло разное другое.

А что касается Ахматовой... Тем временем, по мере того как я подрастала, но уже Наташа с теткой не дружили, и уже на машине меня никто не брал кататься, уже я не могла видаться с Ахматовой непосредственно, она мне прислала — у меня есть фотография с ее дарственной к моему какому-то шестнадцатилетию, что ли, пятнадцатилетию... Такая надпись, которая мне не нравится, типа: «Милой Оле, нашей смене». В общем, такая фигня, общие слова. А тетушка с ней всегда была до последних... Да, тем временем я уже, конечно, поняла, что такое Ахматова, и уже как-то иначе это все воспринимала, и я из тех людей, которые еще помнят и были на похоронах Ахматовой. Вот это я помню. Я пошла туда, на похороны. Это был будний день, и я прогуляла первые уроки в школе. Поехала, пошла туда, в Склиф, где морт, где было прощание, и все это время прощания я простояла — там по периметру такие скамейки, и разные люди туда, на эти скамейки, забралась и стояла на скамейках, — и я тоже влезла на эту скамейку. И вот этот круговорот, шли люди, народу было очень много. Евтушенко с этой своей шеей, такой Буратино. Там, какой-нибудь Слуцкий. Кого-то я знала, кого-то я не знала, но это



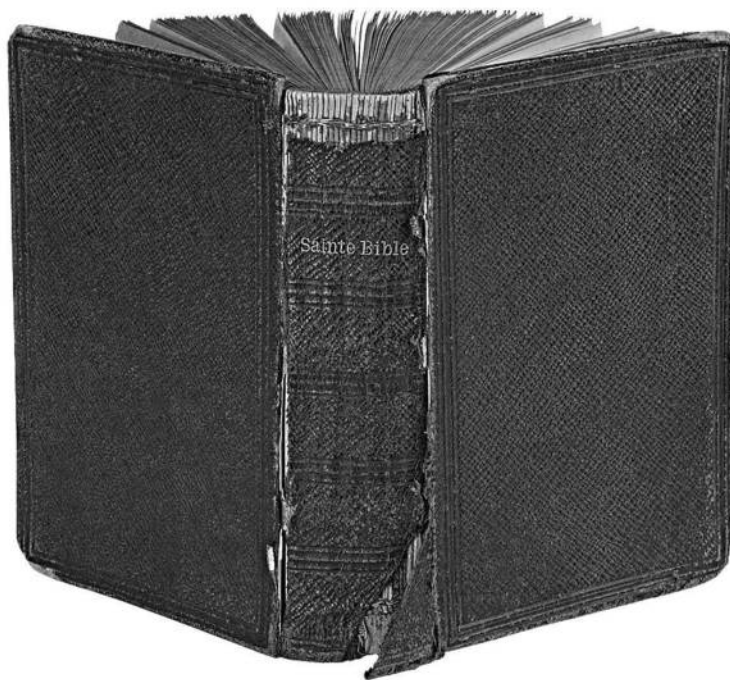
впечатление очень сильное — как я пришла туда... Я пришла раньше времени, заранее, и вошла туда. Пусто почти. Только какие-то тени (видимо, самые близкие люди) колыхнутся по стенам. Лежит на столе Ахматова в каком-то сиреневом платке, шали такой, и нет цветов, а вербы вокруг, серебристые вербы — как волосы. Это вообще, надо сказать, очень значительно, благородно, как фреска такая. Я даже вначале как-то смутилась — никого нет. Вышла. Потом снова зашла, уже с народом. И вот это остановившееся мгновение, безусловно, жизни.

Потом, когда это прощание закончилось, всех стали очень торопить выходить. Руководил этим процессом Ардов Виктор Ефимович, а у него всегда был мифистфельский такой облик. Он был в очень красивом, песочного цвета пальто, с этой своей тростью, с бородкой — весь облик такой... И он стал всех торопить и требовать, чтобы народ расходился, видимо, ему было указание дано, что, типа, давайте. Уже приехал этот автобус, погрузили туда, в аэропорт и оттуда в Питер, в Николы Морского, и так далее. И день был такой, знаете... Март. Я вот что запомнила — двор этого морга Склифосовского, он был весь в колотом льде. Тоже все седое какое-то... Это был абсолютный гризайль, абсолютный, вот всё, от и до. Там не было никаких тюльпанов, роз. Это было все седое, серебристое, трагически седое. Не нарядное серебряное, а тяжелое.

## Ахматова, французская Библия и вилла «Мария»

А еще с Ахматовой эта история семейная, она такая.

У моего дедушки была сестра, Мария Борисовна Айзенман, а в замужестве Ферлиевич, которая жила в Армавире. Окулист, офтальмолог. Ее немцы убили в августе 42-го года, как полагалось всех евреев города Армавира. И от этой нашей родственницы, моей, собственно, двоюродной бабушки, в семье остались письма, которые она писала. Они поскольку были в разлуке — эти жили в Армавире, наши — в Москве, есть довольно много ее писем, которые она писала и бабушке моей, и моему дедушке, и моей тетушке. А вот предмет остался один. Это Библия, французская. Французская Библия с удивительной дарственной надписью, которая была подарена этой еврейской девочке Мане на ее, видимо, десятилетие каким-то родственником, тоже евреем. От его фамилии там... Где она у меня? Могу даже показать. На форзаце, и на левой, и на правой стороне форзаца длинная напутственная надпись о том, как она должна воспринять вот эту книгу, обдумывать... В общем, какое-то очень серьезное наставление, что это книга, которая сохранила мудрость разных народов... Ну, в общем, очень какой-то умный, прочувствованный, важный текст. Я в книжке его своей привожу. И эта книга, эта французская Библия, вероятно, была подарена, передана, может быть, Марией Борисовной моей бабушке, скорее всего. Бабушка была христианка. И вот она жила в доме, и после смерти Марии Борисовны, собственно, это единственное такое непосредственно... И в какой-то момент Ахматовой... Даже не Ахматовой, а Эмме Герштейн для работы над каким-то комментарием к Лермонтову понадобилась французская Библия. Об этом зашла речь. Таня сказала, моя тетушка, что у нее есть такая Библия, и принесла ее Ахматовой.



Французская Библия Марии Ферлиевич. Фото из архива О. А. Вельчинской

И, вероятно, Эмма воспользовалась, вернула, и в одном из томов, не помню, в каком, третьем, кажется, томе записок об Ахматовой Лидии Корнеевны Чуковской текст такой, она записывает монолог Анны Андреевны. Общеизвестно, что Анна Андреевна весь свой архив возила с собой. Все стихи с собой возила, весь архив. Когда она моталась между Питером

и Москвой, она всегда это возила с собой. И, где бы она ни оказалась (а жила-то она всегда у друзей, не в гостиницах каких-нибудь), она видела, что роются в ее архиве. И какие-то следы явные оставались — и такие намеренные следы. И, в частности, этот ее монолог — это известно, какое число, и всё это у меня зафиксировано, и можно легко прочитать. Такой ее яростный монолог, что вот опять рылись и мало того, что там оставляли всякие следы, разрезали корешок Таниной Библии, Библии Тани Айзенман, которую давала она для прочтения, для работы Эмме Герштейн. Причем, ясно совершенно, что если бы человек хотел сделать это аккуратно, чтобы это не заметили, он бы не стал разрезать бритвой корешок старинной Библии. То есть, можно догадываться, кто это делал. А жила она в это время на Ордынке. Но это делалось так, чтобы было понятно, что это делается. И тетушке моей эта Библия была возвращена с этим «Как я теперь буду смотреть Тане в глаза? Что делать?» Эта Библия, так она и стала жить у Тани с изрезанным корешком. Я тоже не собираюсь ее реставрировать. Она у меня как артефакт такой и существует. Так что такие интересные переплетения, которые меня как-то...

Да, но что забавно — этот текст подписан: «Ф». Уголок оторван — просто по жизни оторвался. Библия, которую много читали. И уголочек оторван. «Ф». И кто, кто это мог быть? Непонятно. Писал взрослый человек девочке. И вот, когда «Наследие», Енишерлов, отказавшись публиковать историю про Наташу Ильину, опубликовал другие какие-то мои тексты, довольно быстро из интернета, через дочь (значит, еще не было никакого фейсбука)... Дочь моя получает письмо от человека, который пишет, что, судя по всему, мы с вами родственники. Действительно оказалось, что некая милая молодая женщина Люда Муравьева сломала ногу, спускаясь с каких-то горнолыжных дел, и сидит дома. Стала искать фамилии родственников мужа, искать какие-то связи. А дедушка мой... То есть моя прабабушка, мама моего деда, у нее девичья фамилия Фарбштейн. Они из Ялты. И, когда эта женщина, Люда, набрала фамилию Фарбштейн, вдруг неожиданно... Она периодически это делала, какие-то сведения собирала, а тут — мой текст. И оказалось, что эта семья — потомки — внуки, правнуки двоюродной сестры моего деда и прямые родственники того самого дедушкиного дяди Григория Михайловича Фарбштейна, сотрудника фирмы Бари, благодаря которому бабушка и дедушка и познакомились. А он был не рядовой сотрудник, а очень яркий, который наблюдал и руководил реальным строительством павильонов Нижегородской выставки 1896 года.



Мария Борисовна Ферлиевич (Айзенман). Фото из архива О. А. Вельчинской

Мы были уверены, что эта семья... То есть, ну как — мы? Тетушка и папа. Что они погибли в оккупации. Потому что они жили в Ялте и в Алупке. Даже уже последние эти родственники жили в Алупке. И сохранились в семье письма этой Марии Борисовны, которые о том, что они там все остались. В общем, было ощущение, что они все канули в войну. Оказалось — ничего подобного. Оказалось, они эвакуировались на последнем танкере «Дербент», который последним уходил из Севастополя, умудрились добраться до Севастополя, и на том же, кстати, танкере эвакуировались родственники моей ближайшей подруги по Мансуровскому переулку, на одном и том же танкере. Это последний танкер, который благополучно оттуда уехал. И потом их жизнь сложилась как-то по-разному, сложно, но всё вырулили.

И огромная, оказалось уже теперь на сегодняшний день, семья живет тут неподалеку на Живописной улице. Они вылупились оттуда. И у них до сих пор квартира где-то там в Севастополе осталась от какого-то дедушки, и они вхожи в архивы крымские — ялтинские и алупкинские. И они узнали, кто подарил Библию. Это такой был аптекарь по фамилии Фрид, Яков Фрид. То есть массу интересного я про них узнала. Узнала, например, что прабабушки моей этой, дедушкиной мамы, одна сестра замужем, например, была за архитектором Красновым, который все эти строил шикарные алупкинские дворцы. В общем,

какие-то интереснейшие обнаружилась связи. Я даже их особенно еще не выучила, но они все записаны. Масса каких-то фотографий, и все эти истории. А самое смешное...

Вообще, эти связи, эти пересечения и скрещения, они меня забавляют бесконечно, так же, как, вероятно, и вас. Этот Григорий Михайлович Фарбштейн, сотрудник фирмы Бари, дядя моего деда и праотец этих нынешних родственников, он был человек обеспеченный, в этой фирме он зарабатывал хорошо, и он своей дочери купил — она окончила в Харькове медицинские женские курсы и получила диплом акушерки. Вера Григорьевна Швединова по мужу она, — купил ей в Алупке виллу. Купил он ее у Елизаветы Дурново, внучки Суворова, которая ее выстроила, прожила там что-то буквально года три и по каким-то своим обстоятельствам должна была ее продать. Он купил эту виллу для Веры своей Швединовой, для того, чтобы она там жила и чтобы она открыла там филиал туберкулезного санатория. И эта Вера Швединова — это такие настоящие медики, такие земские деятели... Я не знаю, как их обозначить. В этой своей прекрасной, симпатичной вилле она реально открыла детское отделение туберкулезного санатория алупкинское, где до 20-х годов лечились дети, закованные в гипсовые кровати. Она реально их... С какими-то своими сотрудниками. Потом пришла советская власть в Крым. Наверное, двадцать какой-то там год, 21-й. И эту виллу у нее экспроприируют. А детей-то надо куда-то девать. И у нас тогда начинается... А дедушка мой юрист и живет в Москве, и она пересылает дедушке всякие бумаги со всякими там... Документы эти на виллу, на алупкинские все эти горсоветы, чтобы как-то все-таки доказать, что это не больница, это... Ничего, естественно, не выходит. К этому времени уже восстанавливается сообщение между Крымом и Россией. В общем, у этих детей потихонечку родители или какие-то родственники находят, их забирают. Эту виллу отбирают. Ну и проехали. Вилла называется «Мария». Их жизнь дальше идет другим чередом. Какие-то вещи я знаю, какие-то — не знаю. Что-то даже уже и забыла. И эта вилла отходит алупкинскому горсовету. Что там происходит, не знаю.



Г. М. и А. М. Фарбштейны, К. М. Фарбштейн-Айзенман, Мария Айзенман. Ялта. 1890-е. Фото из архива О. А. Вельчинской

Тут где-то года, ну, не знаю... Давно уже. Лет, наверно, пять назад. Нет, больше, больше. Лет уж, наверно, прошло восемь или девять. Дочь моя со своим семейством решает на Новый год поехать в Крым, в Алупку, встретиться с какими-то своими друзьями. И они шуруют по интернетам и снимают комнаты на вилле «Мария», которая в частном владении, принадлежит каким-то реальным ныне людям. Я говорю: «Наташ! Это ведь та самая вилла!» Действительно, которая принадлежала... Да, так и оказалось. Когда возникают эти мои родственники, я говорю: «Ребята! Давайте разберемся с этим...» Да, а они возникают, мы просто никогда друг про друга ничего, естественно, не слышали, ничего. Я говорю: «Слушайте, какое счастье, что вы возникли! У меня толстая папка писем вашей бабушки и всех документов на вашу виллу «Мария». Если бы Украина отошла Евросоюзу, и Крым остался бы в составе Украины, у них были бы все права на реституцию. Все права! Это полный набор документов. Оригиналы. Представляете себе? Ну, я им подарила просто для памяти. Я говорю: «Ребят, пусть это будет у вас, потому что мне это точно не нужно». Причем там с какими-то гербовыми печатями. Это просто вот, просто взял... Ну, они по этому поводу не страдают, они спокойно к этому относятся. Они очень рады, что Крым теперь их, у них есть там жилье какое-то. И всё, всем они довольны, эти Явичи. Вот, такое удивительное переплетение, такая история. У Наташи, по-моему, заболел Егор, внук, и они не смогли поехать на эту виллу. Но эти наши родственники предупредили, что не надо говорить, не надо возбуждать этих людей, они очень напряжены. А вилла называется вилла «Мария». И там есть даже мемориальная комната, где все посвящено Суворову, Хитрову, хотя они там прожили что-то два с половиной года, а наши-то там прожили лет двадцать. Ну, это понятно. Какие могут быть претензии? То есть ценность этой виллы и даже, может быть, расценки, они, конечно, благодаря Суворову... Такая вот история.

Е. Г.: Да. Любопытная история.

О. В.: Очень забавная. Да, презабавная история. И вот вокруг этой Библии, которая происходит... И связан косвенно этот сюжет с Ахматовой, с Ардовым, с Наталией Ильиной. Это всё в такой вот котел плавильный. Плавильный котелок. Так что я, конечно, поскольку я все время же отвечаю. Это, видите, такой порочный... Ну что делать.

Е. Г.: Что с вами делать!

О. В.: Что со мной делать (*смеется*)!

Е. Г.: У нас осталось восемь минут.

О. В.: Ну давайте что-нибудь коротенькое я вам расскажу. Уточнить что-нибудь могу.

Е. Г.: Встречу Гагарина.

О. В.: А, встреча Гагарина, да.

Е. Г.: Расскажите?

## Встреча Гагарина

О. В.: Быстро рассказываю о встрече Гагарина. Значит, вот этот самый день. Распахивается дверь в класс. Входит кто-то, не помню, кто. Наверное... Нет, это был Нил Павлович Желнов, наш учитель физики и классный руководитель, и сообщает нам эту радостную весть. Возбуждение, которое охватило школу и вообще всех, оно многожды отражено. Ощущение — да, наступило счастье. Отныне и навсегда. Ликуем по-страшному. Ну, в этот день еще его не встречали же. Его встречали через сколько-то дней, Гагарина-то, да? Но здесь мы просто ликуем. Нас отпустили с уроков. Ликуем. Очень скоро — буквально через пару дней — наступает встреча Гагарина. Вот это надо уточнить, кстати. Когда именно он приехал, этот знаменитый его проход с развязавшимся шнурком, о который он спотыкался, и прочее. Ну и тут мы тоже в каком-то экстазе. Опять нас тоже отпускают с уроков. И наша группа, девочек из нашего класса — мы уже большие, нам уже по четырнадцать лет — мы вливаемся в колонну фабрики «Красная Роза». Ткачи и ткачихи, которые многие десятилетия ткали крепдешин изумительной красоты. Ну и по соседству они там, в районе, в Хамовниках. И мы, эти девочки, внедряемся... Мы такие все уже взрослого вида, не дети. И с этой колонной мы движемся к Красной площади. Очень медленно. Но это не страшно, нам это очень нравится, настроение счастливейшее, все радуются, все танцуют, пляшут по-всякому, весна на дворе. И очень долго мы перли-перли-перли, наконец, доперли до Красной площади, прошли, видели Гагарина. Всё это случилось.



Встреча Гагарина на Красной площади. 1961. Фото с <https://www.liveinternet.ru/photo/4258490/post20455017/>

Но тем временем дома у меня... Мне в голову не приходит. Хотя я вообще всегда была в этом смысле достаточно внимательна, зная повышенную тревожность своей мамы. Происходит ужас. Потому что мама, которая... в жизни у нее определенный свой жизненный опыт, и она понимает, что всенародное ликование, оно мало отличается от всенародной скорби. И дело у нас происходит в каком — 61-м году, да? А в 53-м-то еще только вот задавили народу, да, там? И мама совершенно в ужасе и в страхе, и понимает, уверена, что результат будет самый трагический. И она вместе с нашей соседкой Анной Васильевной Морозовой, очень хорошими людьми, сидельцами бывшими, она мечется по микрорайону... Что она имела в виду, зачем по микрорайону метаться? Но она просто не в состоянии была находиться дома. И в ужасе. А мы прошли

через Красную площадь. Мы счастливы. Мы, не торопясь, идем обратно, возвращаемся по набережной. Ликуем, обсуждаем. И где-то уже в сумерках я сворачиваю в наш Мансуровский переулок — и навстречу мне несется совершенно обезумевшая Анна Васильевна, соседка, обезумевшая, вцепляется в меня хваткой просто... У меня черные были такие синяки. И тащит меня домой. И сидит дома моя мама — уже никакая. Уже практически неживая. Вот эта Анна Васильевна возвращает маме ее, значит, единственное дитя. Ну, счастливы, все счастливы. И мама никогда уже Анне Васильевне этого не забыла, то есть она их пасла до самой глубокой старости, она их хоронила. Уже они жили бог знает где, в доме престарелых, после многих переездов и так далее. И мама — это было у нее ощущение, что Анна Васильевна — благодаря ей она меня, в общем, обрела.

Но это было, конечно, презабавно, потому что... Хотя тут было обсуждение по поводу какого-то юбилея этого полета, и всякие уважаемые мной люди, они говорили, что... Мои ровесники. Что никакого восторга они не испытывали, и совершенно им все это казалось полной фигней. Но я не верю. Нет, ну кому-то я, может быть, и верю. Это было какое-то такое... Ну, все-таки это была еще оттепель, да? Все-таки у всех были какие-то иллюзии. Я не верю, что вот так вот равнодушно, «подумаешь». Не верю. Нет. Я думаю, что они, может быть, уже пересмотрели свое отношение, но тогда был необыкновенный подъем. Нет, мама моя вряд ли какой-то подъем испытывала. Это вообще не ее был темперамент, и у нее были иначе расставлены приоритеты. Такие государственные праздники и вообще какие-то государственные ликования, они оставляли в стороне ее. Вернее, она их оставляла в стороне. Но папа, мне кажется, очень ликовал. Это было действительно как-то удивительно. Нет, у нас, конечно, в той же нашей квартире вот эти Морозовы, которые приехали с севера, совершенно голые, босые, и вообще, под шестьдесят лет начинали жизнь сначала, они тоже не испытывали никаких... Анна Васильевна — точно нет. Ну не знаю. Может быть, так. Но, тем не менее, — да, я — тот самый человек, который не только встречал Индиру Ганди и видел, но еще и Гагарина. Так что уже такой раритет, безусловно. Не так уж много сейчас людей, которые сами видели в тот день Гагарина. Нет, конечно. Я одна из них.

Е. Г.: Замечательно. Спасибо.

О. В.: На здоровье *(смеется)*.